

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК  
СССР

*Советское*  
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

5  
1984



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
• НАУКА •

# Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

5

1984

ЖУРНАЛ  
ОСНОВАН  
В 1965  
ГОДУ

МОСКВА

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Гибианский Л. Я.</i> Советский Союз и югославское народно-освободительное движение в 1941—1943 годах . . . . .	3
<i>Кузьмин М. Н.</i> Педагогическое творчество А. Я. Коменского в контексте социокультурных процессов перехода от феодализма к капитализму . . . . .	22
<i>Дмитриев М. В.</i> Антифеодальные тенденции в реформационном движении в Речи Посполитой второй половины XVI века . . . . .	27
<i>Семенова Л. Е.</i> Молдавское княжество в международных отношениях в Юго-Восточной Европе во второй половине XV века . . . . .	37
<i>Петров Е. В.</i> Славяно-германские отношения в Юго-Восточной Баварии в VI—X веках . . . . .	51
<i>Базилевский А. Б.</i> Гротеск в поэмах Ю. Тувима и К. И. Галчиньского 20—30-х годов . . . . .	59
<i>Колесницкая И. М.</i> Болгарские и восточнославянские свадебные песни . . . . .	74
<i>Попова Т. В.</i> О некоторых проблемах сопоставительного изучения славянской морфонологии . . . . .	84
<i>Лешкова О. О.</i> К вопросу о функционально-семантической категории собирательности в русском и польском языках . . . . .	92

## СООБЩЕНИЯ

<i>Будзыньский Р.</i> (ПНР). Польско-советское сотрудничество в области общественных наук (1971—1975)	102
<i>Акинфиев А.</i> Тодор Бурмов — болгарский общественный и политический деятель и публицист . . . . .	106

## ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Лещиловская И. И.</i> Внешняя политика России XIX и начала XX века. Документы Российского министерства иностранных дел . . . . .	113
---	-----

<i>Билунов Б. Н.</i> Н. Н. Червенков. Политические организации болгарского национально-освободительного движения во второй половине 50-х — 60-е годы XIX века . . . . .	115
<i>Шерлаимова С.</i> Новая польская книга о чешской и словацкой литературе . . . . .	117
<i>Мокиенко В. М.</i> Cermák František. Idiomatika a frazeologie češtiny . . . . .	120

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Молошная Т. Н., Судник Т. М.</i> Две конференции в секторе структурной типологии . . . . .	123
---	-----

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. КОСТЮШКО (главный редактор), В. А. ДЬЯКОВ,  
 В. В. ЗЕЛЕНИН (зам. главного редактора), В. И. ЗЛЫДНЕВ,  
 В. Г. КАРАСЕВ, Д. Ф. МАРКОВ, А. И. НЕДОРЕЗОВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ,  
 Ю. А. ПЬСАРЕВ, Л. Н. СМИРНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ (зам. главного редактора),  
 Я. В. ШМЕРАЛЬ

Адрес редакции: 117132, Москва, ул. Вавилова, д. 37а

Телефон 124-98-11

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*



ГИБИАНСКИЙ Л. Я.

## СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ЮГОСЛАВСКОЕ НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В 1941—1943 ГОДАХ

Народы Советского Союза и Югославии сражались в 1941—1945 гг. против общего врага — гитлеровской Германии и возглавлявшегося ею фашистского блока. В огне войны сложилось и окрепло советско-югославское боевое содружество. Доблестные Советские Вооруженные Силы, сыгравшие решающую роль в разгроме фашизма, и героические борцы югославского народно-освободительного движения (НОД), организованного Коммунистической партией Югославии (КПЮ), вместе ковали историческую победу над фашистскими агрессорами. Самой яркой страницей этого боевого содружества стали развернувшиеся на земле Югославии осенью 1944 г. совместные боевые действия Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) и советских войск, оказавших непосредственную помощь освободительной борьбе югославских народов. В результате проведенной братскими армиями Белградской наступательной операции, 40-летие которой исполняется в этом году, была освобождена северо-восточная часть Югославии со столицей страны Белградом, началось окончательное изгнание врага с югославской территории.

В годы войны против фашизма народы СССР и Югославии, руководимые своими коммунистическими партиями, боролись также за общие социально-революционные цели, за интересы социализма. В ходе народно-освободительной борьбы в Югославии произошла революция, приведшая к созданию нового, народно-демократического государства, к вступлению страны на путь социалистического развития.

Возникновение новой, революционной Югославии сопровождалось становлением тесных взаимных отношений между нею и Советским Союзом. В данной статье рассматривается начальный этап становления этих отношений — сотрудничество СССР и НОД в 1941—1943 гг.

Если оставить в стороне различного рода политическую публицистику, то в собственно научной исторической литературе эта проблема, помимо ее самой общей, беглой, и зачастую априорной, оценки в трудах по более широкой проблематике, стала объектом исследования, главным образом, с первой половины 60-х годов. Это было связано в советской литературе прежде всего с помещенной в «Истории Югославии» обширной главой о народно-освободительной борьбе и с аналогичной книгой, написанными Г. М. Славиным [1, гл. 47; 2], а в югославской — с монографией Д. Пленчи о международных отношениях Югославии во время второй мировой войны [3].

В последующей разработке темы советские историки В. В. Зеленин, Г. М. Славин, Ю. С. Гиренко, В. Е. Романов, а также автор данной статьи исследовали отношение общественности СССР к НОД Югославии, освещение народно-освободительной борьбы и ее политико-пропагандистскую поддержку советской печатью, некоторые аспекты дипломатической деятельности СССР на международной арене в поддержку НОД в 1941—1943 гг. [4—12].

Югославские историки, обратившиеся к изучению указанной темы, в основном делали это, как П. Морача и В. Клякович, в рамках рассмотрения связей между КПЮ и руководством Коминтерна, деятельность которого отождествлялась названными авторами с советской политикой, либо югославского вопроса в антигитлеровской коалиции [13—15]. Тем самым была продолжена линия, которой уже следовал Д. Пленча. И так же, как у него, исследование позиции СССР в отношении НОД строилось на основе определенным образом интерпретированных радиотелеграмм, которыми обменивались в 1941—1943 гг. руководство КПЮ и секретариат ИККИ, различных документов югославского эмигрантского правительства и некоторых западных изданий. Оригинальные советские источники, в том числе, например, такие доступные историку, как пресса, разного рода периодические, публицистические, пропагандистские издания изучаемого периода, не использовались. Лишь в последнее время отдельные югославские авторы приступили к изучению ряда аспектов темы с привлечением советского документального материала, как это сделал, например, Р. Терзиоски [16].

Среди материалов, использовавшихся в большинстве работ югославских историков, в которых рассматривалась интересующая нас проблематика, существенное место заняли также некоторые публикации, особенно В. Дедиера, появившиеся еще в начале 50-х годов [17<sup>1</sup>—19]. В этих, обусловленных тогдашней обстановкой публикациях, в частности, неадекватно освещены взаимоотношения СССР с югославским НОД в 1941—1943 гг. в результате как одностороннего подбора фактического (либо даже, как в ряде случаев у Дедиера, за таковой выдаваемого) материала, так и его произвольного толкования вне реального исторического контекста. Между тем их влияние оказалось ощутимым вплоть до настоящего времени, тем более, что, к примеру, В. Дедиера не раз переиздавали, а в начале 80-х годов вышли два первых тома его нового, запланированного в пяти томах «труда» [20], где отношения между СССР и НОД Югославии в 1941—1943 гг. изображаются с аналогичных позиций: как якобы непрерывно нарастающие противоречия, вызванные чуть ли не «враждебностью» СССР к югославской революции. При обсуждении данной публикации, организованном редакцией «Борьбы» в январе 1982 г., освещение Дедиером многих вопросов истории КПЮ и новой Югославии подверглось острой критике как изобилующее ошибками, передержками, прямыми фальсификациями [21]. Во время обсуждения югославский историк Д. Браюшкович отметил и то, что «Дедиер сильно старается в как можно более черном свете представить отношение СССР к нашей народно-освободительной борьбе». При этом Браюшкович подчеркнул: «История не признала бы нас правыми, если бы мы сказали, что Советский Союз в ходе второй мировой войны в границах своих сил, и на определенных этапах, не помогал нашему народно-освободительному движению, прежде всего политически, а затем, на завершающем этапе войны, и политически, и материально, и в военном отношении» [21, 1982, 28 I, с. 6].

Публикации Дедиера и им подобные издания нашли широкое использование и в западной исторической литературе. Характерен в этом смысле выпущенный под редакцией С. Клиссолда лондонским Королевским институтом международных отношений документальный обзор советско-югославских отношений 1939—1973 гг. [22]. Из помещенных в книге 87 документов, относящихся ко времени с июня 1941 до конца 1944 г., 56, т. е. почти 2/3, взяты из упомянутых публикаций, преимущественно как раз по периоду 1941—1943 гг., между тем как из советских источников — всего 5 (остальные — из других югославских и западных источников). Данный подбор материала служит основой соответствующей интерпретации отношений между СССР и НОД. Монографическая статья, предпосланная в качестве предисловия к книге, в значительной мере отражает выдвинутую Дедиером версию, будто СССР не только не оказывал поддержки НОД, а, наоборот, выступал чуть ли не фактором, мешав-

<sup>1</sup> Впервые опубликована в 1950 г.

шим развитию последнего. Подобное изображение, нередко даже в еще большей степени, свойственно преобладающей части западной литературы.

Упомянутые работы советских историков свидетельствуют о несостоятельности ряда важнейших положений этой искусственной конструкции. В данной статье, с учетом уже сделанного в историографии и использованием нового материала, анализируются основные направления, формы и этапы развития отношений между СССР и НОД Югославии в 1941—1943 гг.

Основой отношений являлась с самого начала общность целей обеих сторон, включающая в себя два главных элемента. Один из них — борьба против фашистских захватчиков, определявшая отношения между СССР и НОД как между союзниками в войне.

С первых же документов, обращенных к населению Югославии и призывавших к вооруженному выступлению, руководство НОД, возглавлявшая его КПЮ подчеркивали, что СССР как самая мощная сила в войне является главным союзником югославских народов в борьбе с оккупантами, что действия Красной Армии на советско-германском фронте имеют огромное значение и для освобождения всех порабожденных европейских стран, включая Югославию, и что, в свою очередь, активность НОД в развертывании борьбы представляет собой не только важнейшее условие скорейшего освобождения собственной страны, но и наиболее результативное содействие, какое югославские народы в состоянии оказать СССР, несущему основную тяжесть в битве с фашизмом [23, т. I, кн. 1, с. 18—21, 22, 25; т. II, кн. 1, с. 21, 59—60; 24, т. I, кн. 1, с. 16—18 и др.].

Отношение к НОД как к союзнику в войне с фашизмом было ясно выражено в СССР после первых же известий о развертывании освободительной борьбы в Югославии. Советские средства массовой информации приступили к ее широкому освещению. По подсчетам В. В. Зеленина и Г. М. Славина, уже в июле 1941 г., когда восстание только начиналось, «Правда» поместила 26 материалов о положении в Югославии, «Известия» — 30, «Труд» — 22, «Красная звезда» — 27 [4, с. 29; 6, с. 20]. С этого времени сообщения и статьи о народно-освободительной борьбе в Югославии превратились в постоянный компонент содержания советской прессы, радиопередач. Начиная с июля 1941 г. сведения о действиях югославских партизан, а затем НОАЮ, выросшей из партизанских отрядов, регулярно включались, наряду с известиями с фронтов Великой Отечественной войны, в сообщения Совинформбюро [6, с. 19; 9, с. 85]. При этом борьбе в Югославии давалась самая высокая оценка как подающей пример народам других порабожденных европейских стран, как важному вкладу в дело разгрома общего врага, за которое югославские партизаны и Красная Армия, хотя и отделенные большим расстоянием, борются плечом к плечу. Это же подчеркивалось и в заявлениях руководящих партийных, государственных, военных деятелей СССР — в речах и статьях К. Е. Ворошилова, Е. М. Ярославского, С. К. Тимошенко летом — осенью 1941 г., в приказе И. В. Сталина 1 мая 1942 г. и т. д. (подробнее см. [4; 6; 7; 8, с. 8—13; 9, с. 85—86, 89, 93—94, 98—99 и др.; 16]).

Практическим воплощением боевого союза между СССР и югославским НОД было прежде всего само участие в войне против общего врага. Оно являлось и наиболее эффективной взаимной помощью и поддержкой, ослабляя вражеские силы. Действия Красной Армии на советско-германском фронте имели решающее значение в общей борьбе против фашизма. Тем самым они способствовали успехам югославского НОД. Великая Отечественная война Советского Союза была и важнейшим фактором мобилизации, моральной поддержки югославских народов в их борьбе. Само восстание 1941 г. началось под непосредственным влиянием вступления СССР в войну. Как подчеркивал И. Броз Тито в годы войны и много лет спустя, подвиг советского народа служил для масс, объединенных в НОД, примером и источником моральной силы, помог выстоять против врага [25, с. 100, 117—118; 26, с. 22]. Народно-освободительная борьба в Югославии вписала самые яркие страницы в историю борьбы

народов европейских стран, поработанных фашизмом. В пределах своих возможностей югославские народы, как подчеркивалось советской печатью уже в первые месяцы войны, вносили значительный вклад в совместный отпор фашизму, оказывали этим посильную помощь Советскому Союзу [7, с. 21; 9, с. 99, 104].

В 1941—1943 гг. удаленность советско-германского фронта на тысячи километров от оккупированной Югославии не позволяла организовать направленные сотрудничество между СССР и НОД в ведении военных действий. Она также препятствовала оказанию советской помощи югославскому НОД оружием, боеприпасами, снаряжением. Вопрос о переброске военных материалов воздушным путем обсуждался в 1941—1943 гг. в радиотелеграммах между И. Броз Тито и генеральным секретарем ИККИ Г. Димитровым. Как сообщал Димитров, вопрос этот неоднократно рассматривался с советским руководством. Димитров подчеркивал, что СССР стремится непосредственно помочь народно-освободительной борьбе, но из-за чрезвычайной отдаленности это не удается осуществить ввиду непреодолимых технических препятствий (см., например: [9, с. 110—111]). С продвижением советско-германского фронта на запад и, тем самым, приближением Красной Армии к Югославии стало возможным приступить в начале 1944 г. к систематическим полетам советской военно-транспортной авиации в расположение НОАЮ.

Другим основным элементом, объединявшим СССР и НОД Югославии, стала общность их социально-революционных целей. В условиях войны она складывалась в рамках антифашистской союзнической общности по мере того, как формировалась и проявлялась сама революционная направленность НОД. Мы уже имели случай специально рассматривать процесс формирования революционной направленности НОД, развития югославской революции в период 1941—1943 гг. [27]. Напомним вкратце его основные черты.

НОД создавалось в ходе восстания 1941 г. под руководством КПЮ как широкий освободительный фронт, объединяющий всех, готовых к активному выступлению против оккупационно-квислинговского режима, независимо от убеждений и политической ориентации. Однако острейшие социальные и национальные противоречия довоенной буржуазно-монархической Югославии, своеобразно преломлявшиеся и многократно усугублявшиеся в обстановке оккупации, обусловили то, что практическое осуществление задач борьбы за освобождение оказывалось неотделимым от радикального общественного переустройства. Образование народно-освободительных комитетов как органов власти восставших масс, которые брали на себя управление возникшими и все увеличивавшимися освобожденными территориями, и строительство военно-политической организации НОД на принципах равноправного объединения югославских народов — обе эти основные черты югославской революции выступали как необходимость, удовлетворявшая потребности последовательного, эффективного развертывания освободительной борьбы. Именно так это выдвигалось КПЮ и воспринималось широкими массами, объединявшимися под ее руководством в НОД. Вместе с тем эти меры носили на практике глубочайший революционный характер, закладывая основы новой политической структуры, противоположной великосербскому реакционному режиму довоенной Югославии. В результате национально-освободительная платформа НОД, выдвинутая КПЮ, получала непосредственную революционную направленность. Такая направленность стала очень быстро усиливаться тем, что единственным инициатором и организатором борьбы за освобождение выступила КПЮ, возглавившая НОД, а югославская буржуазия как организованная политическая сила, напротив, почти вся встала на позиции коллаборационизма. Помимо открытых квислинговцев, таких как усташи с их «Независимым государством Хорватия» или марионеточная администрация Недича в Сербии, в коллаборационистском лагере оказалось вскоре и четническое движение Михайловича, возникшее летом 1941 г. под антиоккупационными лозунгами и выступавшее как военная организация королевского эмигрантского прави-

тельства (в начале 1942 г. Михайлович был назначен военным министром этого правительства). Исходя из крайнего антикоммунизма, четническое руководство уже осенью 1941 г. нарушило кратковременное взаимодействие с НОД, установленное по инициативе последнего, и начало с ним вооруженную борьбу, став на этой основе сотрудничать с оккупационно-квислинговским режимом и на деле превратившись, таким образом, в пособника захватчиков. В итоге борьба НОД за национальное освобождение превратилась на практике и в борьбу с собственной буржуазией.

Соответственно, против буржуазии фактически оказывалась направленной и складывавшаяся система повстанческой власти. Основную роль в ней играли трудящиеся массы, а пролетариат, политически представляемый КПЮ, был не только гегемоном, но и безраздельным руководителем — в новой системе власти вообще не было фактически другой организованной политической силы, кроме КПЮ. Таким образом, по объективно происходившему классовому размежеванию, по расстановке сил в органах власти народно-освободительная борьба стала почти сразу приобретать черты, свойственные социалистической революции, а новая власть — черты диктатуры пролетариата, основанной на широком классовом союзе.

Однако конфронтация между противостоявшими общественно-политическими лагерями развертывалась непосредственно на национально-освободительной основе, по линии «за» или «против» борьбы с оккупационно-квислинговским режимом. Первоначально размежевание восставшего народа с буржуазией, вооруженное столкновение с ее организованными военно-политическими силами были в значительной мере не столько результатом прямого и осознанного выступления масс против буржуазного класса как враждебного социального фактора, сколько следствием того, что основные буржуазные группировки сами поставили себя по другую сторону баррикад в качестве пособника оккупационного режима. По мере развития этого столкновения не только сам его факт, но и его истинный общественно-политический, классовый смысл становились все более очевидными для народных масс, объединявшихся в НОД. Происходила направлявшаяся КПЮ радикализация их сознания, в котором понятия антифашистского освобождения, национальной свободы и демократии, выдвинутые в качестве непосредственной платформы НОД, получали все отчетливее выраженный антибуржуазный, в конечном счете пролетарский по своей нацеленности характер, постепенно совпадавший в итоге с объективным характером происходившего размежевания между НОД и всеми противостоявшими ему буржуазными политическими группировками.

Развитие указанного процесса представляло собой фундамент, на котором складывалась общность социально-революционных целей югославского НОД и социалистического государства — Советского Союза, приобретающая определяющую роль в становлении их взаимоотношений. Эта роль многократно усиливалась благодаря деятельности коммунистических партий обеих стран — ВКП(б) и КПЮ. Более того, поскольку КПЮ стала безраздельным руководителем НОД, взаимосвязь между обеими коммунистическими партиями, осуществлявшаяся до весны 1943 г. в рамках Коминтерна, стала практически стержнем становления отношений между СССР и НОД и даже тем непосредственным организационным каналом, через который в тот период вообще шли все их взаимные контакты. В результате с самого исходного рубежа народно-освободительной борьбы, когда ее социально-революционная направленность только находилась в процессе формирования, взаимоотношения СССР и руководства НОД (которым на деле были высшие органы КПЮ) уже строились фактически на тех же идейно-политических и организационных принципах, которые были характерны для отношений между партиями, т. е. на принципах пролетарского интернационализма.

Само решение ЦК КПЮ о начале борьбы и усилия по ее развертыванию, последовавшие за нападением гитлеровской Германии на СССР, были обусловлены как оценкой, что со вступлением Советского Союза



в войну настал наиболее благоприятный момент для вооруженной борьбы югославских народов за свое освобождение, так и классовой солидарностью с первым и единственным тогда социалистическим государством [23, т. I, knj. 1, s. 12, 18—21, 22—26 etc; 28<sup>2</sup>; 29, s. 180—181, 184—185]. Однако в обстановке, когда на первом плане были национально-освободительные, антифашистско-демократические задачи, выдвигавшиеся в качестве непосредственной платформы НОД, которая служила на практике основой объединения в нем широких масс, классово-интернационалистское отношение к СССР, реально осуществлявшееся революционным авангардом НОД, его руководящей силой — КПЮ, проявлялось в программных документах НОД прежде всего как солидарность в достижении антифашистско-освободительных целей, общих для народов Советского Союза и Югославии. Это не только соответствовало решению конкретных задач, вставших в условиях войны, но и в наибольшей мере отвечало представлениям масс, объединявшихся в НОД. Как отмечалось югославской историографией, в их сознании большую роль играла укоренившаяся традиция славянской солидарности, отношения к России как к союзнику и защитнику угнетенных славянских народов. В обстановке участия СССР в войне с фашистскими агрессорами этот традиционный «русский фактор» приобрел антифашистско-освободительный характер и стал одним из важных импульсов, способствовавших разрыванию восстания. Выдвинутая КПЮ, руководством НОД платформа солидарности с СССР в совместной борьбе против фашизма практически соединяла в себе указанный фактор с классово-интернационалистским отношением революционного авангарда к первому социалистическому государству [30, с. 339—342; 31, s. 159—160].

По мере наполнения антифашистско-освободительных устремлений масс все более последовательно революционным содержанием такое соединение перерастало в сознательное отношение этих масс к СССР как к союзнику в борьбе не только за национальное, но и за социальное освобождение, что в итоге совпадало с классово-пролетарской основой на которой с самого начала стали практически строиться отношения руководства НОД с СССР.

В условиях войны социально-классовое содержание отношения СССР к НОД также проявлялось прежде всего в рамках охарактеризованной выше солидарности с борьбой народов Югославии против оккупантов. Широкое освещение и высокая оценка народно-освободительной борьбы в Югославии советскими средствами массовой информации и официальными деятелями приобрели с самого начала значение важной морально-политической поддержки НОД. Материалы об этом активно распространялись пропагандой НОД, характеризовались ею как стимул к еще большей готовности участников НОД бороться до полной победы [24, т. I, кн. 1, с. 251; 6, с. 26—28; 31, s. 468]. Вместе с тем позиция Советского Союза являлась практически серьезным противовесом позиции классово-политических противников НОД внутри антигитлеровской коалиции — королевского эмигрантского правительства и опекавших его западных союзников, которые отказались от установления контактов с НОД и сосредоточили все усилия на поддержке четников. Направляемые официальными службами, западные средства информации, прежде всего британские, тесно сотрудничая с пропагандистскими органами эмигрантского правительства, создали в 1941—1942 гг. миф о Михайловиче как якобы самой крупной фигуре европейского Сопротивления. Миф базировался на фальсификации: ни о борьбе НОД против оккупантов, ни о сотрудничестве четников с врагом не упоминалось, а боевые действия партизан и затем НОАЮ приписывались Михайловичу [32, p. 160—162; 33, p. 27—29] (см. также [34]). Популяризация народно-освободительной борьбы через Советский Союз, по существу, противостояла этим фальсификациям, была чрезвычайно важным для НОД и в первые годы един-

<sup>2</sup> Интервью И. Броз Тито по случаю 30-летия победы над фашизмом.

ственным каналом распространения правды о нем на международной арене.

Это дополнялось и тем, что с первых же месяцев само НОД также получило в Советском Союзе, а через СССР и в международном плане политическую и пропагандистскую трибуну. Когда по инициативе советских общественных организаций и деятелей начиная с лета—осени 1941 г. в Москве стали проводиться широко пропагандировавшиеся всеславянские митинги, антифашистские митинги молодежи и другие аналогичные мероприятия, развернулась деятельность Всеславянского комитета, в них участвовали в качестве представителей НОД югославские коммунисты, работавшие в ИККИ [4, с. 32; 33; 8, с. 10; 35]. С ноября 1941 г. начала вещание созданная на территории СССР в рамках радиосети Коминтерна радиостанция «Свободная Югославия». Общее руководство ею, как и аналогичными станциями, вещавшими на некоторые другие пораженные фашизмом страны, осуществлялось до роспуска Коминтерна в 1943 г. секретариатом ИККИ и образованной им центральной редакцией. В редакционном коллективе «Свободной Югославии», возглавлявшемся В. Влаховичем, работали представители КПЮ. С весны 1942 г., когда радиосвязь между Москвой и югославским Верховным штабом стала регулярной, подготовка передач велась прежде всего на основе поступающих от него материалов [36, с. 525; 37, с. 22; 38, 12 и 13 III]. «Свободная Югославия» продолжала работу и после роспуска Коминтерна — вплоть до января 1945 г. Помимо передач на языках народов Югославии, с октября 1942 г. было введено вещание также на английском, французском, чешском [38, 15 III]. Тем самым НОД получало через СССР возможность повседневной радиопропаганды, обращенной как к населению собственной страны, так и к мировой общественности.

Последнему содействовали также ТАСС и Совинформбюро, которые в информацию, распространявшуюся ими в союзных и нейтральных странах, включали материалы о народно-освободительной борьбе в Югославии из советской печати и передач «Свободной Югославии». С 1942 г. началась и непосредственная посылка материалов, подготавливавшихся в редакции «Свободной Югославии», в прессу союзных и нейтральных стран, прежде всего в издания компартий, примыкавших к ним левых организаций, славянских комитетов [38, 13 и 14 III]<sup>3</sup>. В этой работе активно участвовали также действовавший в тесной связи с Совинформбюро Всеславянский комитет и начавший выходить в Москве с июня 1942 г. его журнал «Славяне», широко рассылавшие в США, Англию, Канаду, Австралию, страны Латинской Америки материалы, среди которых много места отводилось освещению народно-освободительной борьбы в Югославии [4, с. 32—33; 8, с. 12—13; 39, ф. 6646, оп. 1, д. 54, л. 16, 19].

Поддержка Советским Союзом народно-освободительной борьбы в Югославии распространилась и на дипломатическую сферу. В конце октября 1941 г. правительство Англии получило предложение СССР о координации и объединении усилий обеих стран в налаживании различного рода помощи антигитлеровскому движению в Югославии. Об этом велись переговоры между советским послом в Лондоне И. М. Майским и британским министром иностранных дел А. Иденом [22, р. 15, 98; 40, р. 282; 41, с. 246]. В случае реализации советского предложения упоминавшиеся выше технические сложности, препятствовавшие тогда переброске военных материалов из СССР в Югославию, были бы преодолены: переброска могла бы осуществляться с английских баз в Средиземноморье. Между тем правительство Англии, к тому времени уже отказавшееся от контактов с НОД и ориентировавшееся лишь на Михайловича<sup>4</sup>, решило воспользоваться советским предложением в своих целях: когда в ноябре

<sup>3</sup> В мемуарах В. Влаховича об этом говорится лишь как о следствии его собственных усилий, не упоминается, что все делалось через Коминтерн, а также с помощью соответствующих советских органов, без содействия которых осуществление подобных мероприятий было в условиях войны невозможно.

<sup>4</sup> Первая британская миссия связи, заброшенная в сентябре 1941 г. в Югославию, оказалась встреченной именно партизанами и была препровождена в Верховный

1941 г. в ответ на нападение со стороны четников партизанские силы в Сербии нанесли мощный контрудар, окружив штаб Михайловича, Лондон, рассматривая НОД как силу, неразрывно связанную с СССР, стал вместе с югославским эмигрантским правительством добиваться от Советского правительства, чтобы оно выступило в пользу прекращения конфликта путем подчинения партизан Михайловичу как «национальному вождю» и направило НОД соответствующее обращение [9, с. 92; 41, с. 246; 44, с. 154].

В СССР не располагали в тот момент необходимыми сведениями о вооруженном столкновении Михайловича с партизанами. В отдельных сообщениях, которые И. Броз Тито, находившийся тогда на освобожденной территории в Западной Сербии с центром в Ужице («Ужичская республика»), с курьерами посылал подпольной радиостанции в Загребе, осуществлявшей связь с ИККИ, в конце сентября — первой половине октября 1941 г. содержалась информация о сотрудничестве НОД с четниками в борьбе против оккупантов [45, т. 7, с. 134, 145]. Такого рода сообщения расценивались в СССР как свидетельство расширения антигитлеровского фронта в Югославии. В ноябре же 1941 г. связь руководства КПЮ и НОД с Москвой была временно нарушена. Поэтому, как отмечал позднее И. Броз Тито, не было возможности сообщить в тот момент в Москву о событиях в Сербии, о борьбе партизан с немцами и четниками [45, т. 11, с. 191—192]. По мнению исследовавших этот вопрос югославских историков Й. Марьяновича, М. Лековича, П. Морачи, нарушенную связь удалось восстановить лишь в начале 1942 г. (в середине февраля 1942 г. была установлена и прямая радиосвязь). Как считают исследователи, только тогда и смогла быть сообщена секретариату ИККИ составленная И. Броз Тито информация о нападении четников на партизан и сотрудничестве Михайловича с оккупационно-квислинговским режимом в борьбе против НОД [31, с. 550, 555; 46, с. 369, 373; 47, с. 726]. В условиях, когда в Москве еще не имели этой информации (между тем как проблема взаимоотношений НОД и четнического движения была вынесена британским и югославским эмигрантскими правительствами в сферу межсоюзнической политики, превращена в один из вопросов отношений между СССР и его партнерами по возникшей антигитлеровской коалиции), Советское правительство выбрало следующую тактику — в Лондоне не получили от него никакого ответа. На последовавшие повторные обращения советская сторона сообщила в конце 1941 — начале 1942 г. британскому правительству, что у нее нет связи с Югославией и руководимым коммунистами партизанским движением, а югославскому эмигрантскому правительству — что не считает возможным вмешиваться в восстание в Югославии [44, с. 154; 14, с. 95, 101; 22, р. 98; 32, р. 160].

Таким образом, правительству Англии и югославскому эмигрантскому правительству не удалось добиться от СССР ни согласия содействовать примирению партизан с четниками при подчинении Михайловичу, ни какого-либо одобрения самому замыслу подобного объединения, несмотря на то, что британская сторона пыталась оказать на советскую даже определенный нажим, связывая данный вопрос с возможностью более широкого англо-советского сотрудничества. Не вступая в дискуссию с Лондоном, советская сторона вместе с тем практически отвергла его план. Как резюмировали в британском Форин оффис в середине января 1942 г., русские «не хотят послать инструкции, которые бы мешали коммунистическим партизанам» [22, р. 98]<sup>5</sup>.

С конца 1941 — начала 1942 г. советская печать еще шире развернула освещение партизанского движения в Югославии. В. В. Зелениным

---

штаб, но в соответствии с приказом британских властей направилась в штаб Михайловича, при котором и осуществляла свою деятельность [42, р. 126—136, 141 etc.]. Подробнее о политике Англии в отношении Югославии см. [43].

<sup>5</sup> В данной связи мы уже имели случай подробно рассматривать вопрос о бесполезности противоположного рода утверждений, пущенных в оборот В. Дедером еще в начале 50-х годов и получивших распространение в западной историографии и в работах ряда югославских авторов [12, с. 244—248].

и Г. М. Славиним уже приводился обширный фактический материал на сей счет [4; 7; 8]. Особое значение имела напечатанная в «Правде» 23 марта 1942 г. большая статья Б. Н. Пономарева «Югославия в огне партизанской войны», написанная на основе информации, полученной от руководства НОД после установления прямой радиосвязи с ним в феврале. Вслед за тем она была издана отдельной брошюрой (см., например, [48]). Тот же материал содержался и в опубликованной почти одновременно в журнале «Коммунистический Интернационал» статье Б. Н. Пономарева «Боевой пример Югославии» [49, с. 158—175]. В них подчеркивалось, что в Югославии развивается не просто повстанческое движение, принявшее значительные размеры, а создана мощная организация с единым руководством и централизованной армией. Об эмигрантском же правительстве не упоминалось, чем фактически указывалось на отсутствие связи НОД с ним, со старой Югославией. Не меньшее значение имела и публикация полученного от И. Броз Тито в конце февраля 1942 г. в Москве приветствия Верховного штаба по случаю дня Красной Армии. Его напечатали не только в журнале «Коммунистический Интернационал», но и в официальном издании посольства СССР в Англии — выпускавшемся на английском языке бюллетене «Советские военные новости», где оно было помещено за подписью Тито [6, с. 30]. Его имя было, таким образом, впервые упомянуто в прессе союзных стран.

Все это представляло собой в тех конкретных условиях важную политическую поддержку НОД, являлось на деле противовесом той усиленной пропагандистской кампании, которая была развернута западными союзниками, в первую очередь Англией, а также югославским эмигрантским правительством с целью разрекламировать Михайловича как якобы руководителя югославского Сопротивления, скрыть масштабную борьбу партизанских сил, приписать их боевую активность четникам. Фактическим противовесом прочетнической пропаганде западных союзников было и то, что после получения секретариатом ИККИ в начале 1942 г. сведений от И. Броз Тито о вооруженном выступлении четников против НОД и об их сотрудничестве с оккупационно-квислинговским режимом советские средства массовой информации вообще перестали воспроизводить западные сообщения о Михайловиче<sup>6</sup>. Как было заявлено несколько месяцев спустя югославскому эмигрантскому правительству советской стороной, это было сознательной линией, обусловленной поступлением информации от НОД [22, р. 137]<sup>7</sup>.

После того, как в Москву начала поступать указанная информация от руководства НОД, перед Советским Союзом встала также задача перехода к непосредственным дипломатическим, пропагандистским действиям, направленным против предательской линии четников. Сообщения Тито о широком вооруженном выступлении четников против НОД и их превращении в коллаборационистов несли в себе первоначально значительный элемент неожиданности, ибо Михайлович не только фигурировал в качестве военного министра эмигрантского правительства, выступавшего в составе антигитлеровской коалиции, и рекламировался в Англии и США как герой Сопротивления, но и, что гораздо важнее, сам Тито информировал ИККИ в сентябре—октябре 1941 г. о сотрудничестве НОД с четниками. Это требовало разъяснений. В марте—апреле 1942 г. ИККИ за-

<sup>6</sup> До этого, в конце лета — осенью 1941 г., в советские средства информации иногда попадали исходившие от пропаганды западных союзников и югославского эмигрантского правительства отдельные сообщения, где четники Михайловича изображались движением Сопротивления. Заметим, однако, что это отнюдь не носило сколько-нибудь широкого характера, как совершенно голословно писал Дедиер, фальсификаторская версия которого некритически воспринята частью зарубежной историографии. Анализ советской прессы тех месяцев свидетельствует, что сообщения о четниках, перепечатывавшиеся ею из западных источников, были единичны, основное же место в материалах о Югославии отводилось широкой пропаганде партизанской борьбы (подробнее см. [12, с. 244, 245]).

<sup>7</sup> Совершенно бездоказателен противоречащий этому тезис американского историка У. Робертса, будто в 1942 г. Московское радио «превозносило Михайловича как лидера сил югославского Сопротивления» [34, р. 44]. Ссылки на какие-либо данные у Робертса отсутствуют.

просил от руководства КПЮ и НОД дополнительные, конкретные сведения о предательстве Михайловича [45, t. 9, s. 224; t. 10, s. 239]. Они были нужны и ввиду того, что в марте 1942 г. руководство НОД обратилось через ИККИ с просьбой, чтобы из Москвы было прямо предъявлено югославскому эмигрантскому правительству требование дать объяснения по поводу четнического сотрудничества с оккупантами [45, t. 9, s. 122]. По мере поступления от И. Броз Тито более подробных данных стало возможным составить представление о возникшей ситуации и выработать соответствующую линию.

В тогдашних реальных условиях выступление как против четников, так и против их поддержки югославским эмигрантским правительством, равно как и западными союзниками, прежде всего Англией, должно было осуществляться в рамках антигитлеровской коалиции. Это требовало от СССР тщательного взвешенной тактики, поэтапных действий, учитывающих необходимость сохранения и укрепления антигитлеровской коалиции, отношений с западными союзниками в интересах всей борьбы против фашистского блока.

Первый шаг был сделан советской дипломатией, когда британское правительство, получив в конце марта 1942 г. новое сообщение Михайловича, будто его антиоккупационной деятельности «мешают коммунисты», известило об этом СССР и возобновило предложение, чтобы из Москвы по радио воздействовали на партизан в пользу сотрудничества с Михайловичем. Демарш Лондона был оставлен в тот момент без официального ответа, однако, в последовавшей затем беседе между советским и английским представителями при югославском королевском правительстве британской стороне было не только повторено, что СССР не хочет вмешиваться в столкновения в Югославии, но одновременно на сей раз и указано на сомнения относительно роли Михайловича и его вклада в дело союзников [44, с. 154; 41, с. 247].

Параллельно с апреля 1942 г. с одобрения ИККИ и в координации с советской стороной радиостанция «Свободная Югославия» стала проводить линию на документированное разоблачение конкретного сотрудничества четников с оккупационно-квислинговским режимом. Общественные обвинения против Михайловича и эмигрантского правительства, членом которого он состоял, на первых порах не выдвигались [38, 13 III]. Вопрос о проведении такой линии обсуждался с руководством НОД в радиотелеграммах, которыми последнее обменивалось с ИККИ. Верховный штаб и ЦК КПЮ, исходя из обстановки, непосредственно складывавшейся в Югославии, пришли к выводу о необходимости прямого разоблачения самого Михайловича, а в конце марта 1942 г. сообщили ИККИ, что если эмигрантское правительство продолжит поддержку Михайловича, «мы должны будем открыто выступить против правительства в Лондоне» [45, t. 9, s. 131]. Это предупреждение в адрес правительства было затем сделано публично в приказе И. Броз Тито по поводу первой годовщины фашистского нападения 6 апреля 1941 г. на Югославию [45, t. 9, s. 192—193]. Руководство НОД выдвинуло также план замены эмигрантского совершенно новым правительством «из демократических элементов в стране и за границей», которое бы призвало к решительной борьбе с оккупантами и клеймило коллаборационистов. Было запрошено мнение ИККИ об этом плане [45, t. 9, s. 131, 201].

В полученном ответе не содержалось никаких возражений относительно разоблачения Михайловича пропагандой самого НОД. При этом указывалось на тактическую целесообразность того, чтобы, разоблачая конкретные действия четников, в данный момент вместо прямого выступления против эмигрантского правительства публично адресоваться к нему с требованием поддержать «борющихся югославских патриотов» (т. е. НОД. — Л. Г.) и не позволять, «чтобы те, кто выступают от его имени (т. е. четники. — Л. Г.), всаживали нож в спину Народно-освободительной партизанской армии, когда она борется против подлых оккупантов». Относительно идеи создания нового правительства выражалось мнение, что реально существующим условиям отвечало бы образование «нацио-

нального комитета помощи освободительной армии югославских народов», составленного из пользующихся известностью лиц, «которые бы выступали в стране и за границей с национально-политической платформой борьбы Народно-освободительной партизанской армии» [13, с. 107].

В упоминавшихся публикациях В. Дедиера и даже в работах таких историков, как П. Морача или В. Клякович [13; 15], позиции, выдвигавшиеся каждой стороной, интерпретируются чуть ли не как противоположные, взаимоисключающие. Но, как мы видим, эти позиции свидетельствовали о едином понимании необходимости упрочения внутреннего и международного положения НОД, борьбы против действий четников и их поддержки эмигрантским правительством. В тактике же достижения данных целей имели место определенные несовпадения. Это вызывалось прежде всего неодинаковым кругом практических задач, различием конкретных условий деятельности. Задачи, с которыми приходилось сталкиваться в Москве, были связаны с широким диапазоном проблем мировой политики, всемирной антифашистской, национально-освободительной и революционной борьбы, в том числе борьбы югославских народов за национальное и социальное освобождение. Актуальные задачи, стоявшие в тот момент перед НОД, были в первую очередь обусловлены непосредственным развитием обстановки в Югославии. Рекомендации, содержащиеся в радиграммах, которые последнее получало от ИККИ, исходили из учета общего положения в антигитлеровской коалиции, важных в тот момент аспектов ее упрочения, тех усилий, которые с этой целью прилагал СССР. Предлагавшаяся тактика позволяла без вступления в прямую полемику с Лондоном разоблачать четников и оказывать давление на эмигрантское правительство с целью вынудить его к осуждению, хотя бы формальному, борьбы Михайловича против НОД, чем наносился бы удар по четникам. В случае же продолжения эмигрантским правительством прежнего курса указанная тактика давала бы возможность более аргументированно выступить против него. Вместе с тем проектировавшийся представительный орган НОД, созданный формально не в качестве правительства, на деле оказывался бы противовесом эмигрантскому кабинету как новый национальный политический центр, действующий внутри страны и в международном плане.

Руководство НОД понимало важность актуальных задач укрепления антигитлеровской коалиции, всемирного фронта борьбы против фашистской агрессии. Ему было ясно, в частности, что, как писал впоследствии Э. Кардель, Советский Союз «не мог смотреть на проблему Югославии как на самодовлеющую, вне связи со всей совокупностью проблем, особенно в рамках отношений внутри антигитлеровской коалиции». Поэтому, по свидетельству Карделя, руководство НОД было готово с пониманием отнестись к вопросу о соответствующей тактике [50, с. 27]. В своей оценке положения в конце весны — начале лета 1942 г. ЦК КПЮ подчеркивал первостепенное значение сохранения и упрочения антигитлеровской коалиции, прежде всего взаимоотношений трех ее ведущих держав, в частности отношений между СССР и Англией. Было решено проводить линию на публичное предупреждение эмигрантского правительства за поддержку им четников, требовать его отказа от такой политики [23, т. II, кнж. 5, с. 25—26, 46, 51—52] (идея создания центрального политического органа НОД не получила в тот момент практического развития).

Между тем реакционная югославская эмиграция и ее западные покровители продолжали прежнюю линию, усиливая лживую пропаганду о четниках Михайловича как якобы борцах Сопротивления. Руководство НОД обращалось через ИККИ с просьбой, чтобы в Москве выступили против этой деятельности эмигрантского правительства [45, т. 10, с. 170, 191].

В Советском Союзе также считали необходимым приложить все возможные на данном этапе усилия, чтобы воспрепятствовать распространению мифа о четниках, разоблачить их коллаборационизм. Проявляя в отношениях с западными союзниками тактическую гибкость в югославском вопросе, СССР в то же время твердо стоял на позиции всемирной

поддержки народно-освободительной борьбы, классовой солидарности с НОД, руководимым КПЮ (подробнее см. [10, гл. III]). Неукоснительно продолжая курс на упрочение коалиции, что выразилось, в частности, в заключении 26 мая 1942 г. советско-английского союзного договора, а 11 июня 1942 г. — советско-американского соглашения о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии, Советское правительство вслед за тем предприняло в июле 1942 г. дипломатический демарш перед Лондоном по поводу Михайловича. Ссылаясь на английскую просьбу весной 1942 г. о воздействии на партизан в пользу установления сотрудничества с Михайловичем, на которую так и не был дан ответ, советская сторона информировала теперь британское правительство, что не намерена адресоваться к партизанам подобным образом, ибо Михайлович поддерживает связь с квислинговским «правительством» Недича и ему нельзя доверять [44, с. 154].

Это было подкреплено и публичным выступлением: 6 июля 1942 г. «Свободная Югославия» передала присланную руководством НОД резолюцию, принятую 16 июня конференцией патриотов Черногории, Боки и Санджака, где указывалось на предательство Михайловича, и призвала эмигрантское правительство высказаться по этому поводу [47, с. 736], а 19 июля резолюцию распространило ТАСС [3, с. 149; 9, с. 101]. Через посредство ТАСС, а также органов пропаганды ИККИ и Всеславянского комитета резолюция стала известна в союзных и нейтральных странах, была опубликована там некоторыми буржуазными газетами, а особенно пресой компартий и левой (либо оппозиционной по отношению к великосербскому руководству эмигрантского правительства) славянской эмиграции [3, с. 149; 47, с. 737—740; 51, с. 216].

В работе, опубликованной в 1969 г., П. Морача сослался на свою беседу в 1958 г. с В. Влаховичем, по словам которого, резолюция была передана «Свободной Югославией» по его — Влаховича — собственной инициативе, попала в сообщения ТАСС случайно, а ее опубликование вызвало острое недовольство НКВД СССР. Комментируя утверждение Влаховича, Морача делал вывод об отсутствии «действительно надежных данных» о том, опубликовало ли ТАСС резолюцию случайно или это было выражением советской политики [13, с. 120]. Напротив, Й. Марьянович рассматривал публикацию как один из шагов, специально предпринятых советской стороной [52, с. 275—281]. В данной связи мы уже указывали на два обстоятельства [12, с. 253]. Во-первых, — на одновременное обращение СССР к правительству Англии относительно связи Михайловича с администрацией Недича. С этим шагом советской дипломатии утверждение Влаховича, отсутствующее, кстати, в его опубликованных позднее мемуарах о работе «Свободной Югославии» [38], никак не согласуется. Во-вторых, оно не согласуется и с позицией, занятой затем СССР в связи с реакцией Лондона и югославского эмигрантского правительства на сообщение ТАСС.

Они предприняли энергичные дипломатические демарши перед Советским Союзом, пытаясь оспорить обвинения, выдвинутые против Михайловича, и добываясь их опровержения и прекращения дальнейшей публикации советскими средствами информации. Англия вновь настаивала на принятии совместных с СССР мер в пользу сотрудничества между четниками и партизанами. Но это в августе 1942 г. вызвало решительные возражения Советского правительства, указавшего на конкретные факты коллаборационизма четников Михайловича, полученные от руководства НОД. Британское заявление о нежелательности того, чтобы было известно, что правительства Англии и СССР «поддерживают противоположные стороны в югославской борьбе», было оставлено без ответа [44, с. 154—155; 53, док. 2, с. 74; 3, с. 149—150]. Данные о том, что четники Михайловича сотрудничают с оккупантами, против которых сражаются лишь партизаны, были опубликованы в августе 1942 г. бюллетенем посольства СССР в Лондоне «Советские военные новости», что вызвало крайнюю озабоченность и недовольство правительства Англии, не говоря уже о югославском королевском правительстве и группировав-

шемся вокруг него реакционным ядре эмиграции [5, с. 18; 39, ф. 4459, оп. 27/1, д. 1136, л. 140; 40, р. 287; 54, р. 811].

Названные дипломатические и пропагандистские действия СССР явно представляли собой единую политическую акцию, которая положила начало крушению на Западе мифа о четниках как борцах Сопротивления. Не случайно сообщения, исходившие из Москвы, заняли в тот момент все внимание эмигрантского правительства, бросившего дипломатические и пропагандистские средства на обеление Михайловича и собственной политики [3, с. 149—152, 154—155, 157; 39, ф. 4459, оп. 27/1, д. 1136, л. 141—142; 54, р. 806—808, 810—814, 832—836]. Британское правительство, поддерживавшее своих югославских подопечных, оказалось, однако, также перед серьезной дилеммой. 8 августа 1942 г. на заседании в Форин оффис специально рассматривалась позиция СССР в отношении Михайловича и НОД. И хотя было принято решение продолжать поддержку Михайловича, впервые возник вопрос о возможности установления контакта и с партизанами, что, как отмечалось в британской историографии, положило начало процессу постепенного вынужденного пересмотра английской политики, приведшего весной 1943 г. к посылке представителей в Верховный штаб НОАЮ [22, р. 98—99; 33, р. 33—34; 40, р. 287].

И. Марьянович высказал мнение, будто после протестов британского и югославского эмигрантского правительств советская сторона «отчасти отступила», «начала смягчать дело», по крайней мере в дипломатической сфере. Это аргументируется, например, тем, что СССР, по мнению Марьяновича, затем «достаточно долго» не возобновлял названных выше вопросов перед эмигрантским правительством и официальные дипломатические отношения между ними характеризовались произведенным на рубеже лета — осени 1942 г. взаимным преобразованием миссий в посольства [52, с. 280]. Последнее особенно подчеркивалось и некоторыми другими авторами. Например, не только М. Пьяде или В. Дедьер [17, с. 786—787; 18, с. 360—361], но и писавший гораздо позднее В. Клякович [15, с. 10] одновременно вовсе умалчивали об упомянутых выше советских дипломатических и пропагандистских действиях против четников в июле—августе.

Помимо того, что таким умолчанием вообще искажается позиция СССР, следует отметить, что и упомянутыми авторами, и Марьяновичем вопрос о преобразовании миссий в посольства оказывается искусственно вырванным из реального исторического контекста. Ибо в действительности это отнюдь не сводилось к отношениям между СССР и югославским эмигрантским правительством, а было предпринято в общих рамках взаимного преобразования дипломатических представительств СССР и находившихся в эмиграции правительств оккупированных стран Европы в целом<sup>8</sup>. В тогдашней конкретной обстановке СССР не располагал возможностью исключить югославское королевское правительство из этой общей договоренности с выступавшими в качестве участников антигитлеровской коалиции эмигрантскими правительствами оккупированных европейских стран, тем более, что такая акция в отношении указанных правительств предпринималась одновременно всеми ведущими союзными державами: в частности, в югославском случае это было сделано одновременно Советским Союзом и США, а тремя месяцами раньше было объявлено об аналогичном шаге Англии [39, ф. 4459, оп. 27/1, д. 1136, л. 148; 55, с. 311; 56, 5191 C, 5337 D]. Однако советская сторона параллельно предприняла как раз упомянутые выше дипломатические и пропагандистские действия, направленные против Михайловича и его поддержки эмигрантским правительством. На практике это приобрело ре-

<sup>8</sup> Договоренность охватывала одновременно с югославским также эмигрантские правительства Чехословакии и Норвегии, а несколько месяцев спустя — Греции и Бельгии, т. е. все эмигрантские правительства оккупированных европейских стран, с которыми у СССР к тому времени имелись дипломатические отношения на уровне посланников. С польским правительством они уже прежде были на уровне послов, а с правительствами Голландии и Люксембурга только как раз в середине лета — осенью 1942 г. были установлены дипломатические отношения.



шающее значение, особенно ввиду того, что СССР продолжал указанную линию и дальше.

Утверждение И. Марьяновича о «смягчении» советской позиции расходится с исторической реальностью. На самом деле советская дипломатия в конце лета — осенью 1942 г. неизменно выступала против мифа о Михайловиче как лидере Сопротивления в Югославии, осуждала сотрудничество четников с оккупационно-квислинговским режимом, их действия против НОД, подчеркивала значимость борьбы, которую оно ведет против захватчиков. В октябре 1942 г. правительство США получило специальный советский меморандум по этому поводу. В декабре тот же вопрос был поставлен советской стороной перед А. Идепом во время его визита в Москву, что произвело на британского министра иностранных дел серьезное впечатление [3, с. 154—156; 22, р. 19; 54, р. 814—815, 821—823].

Наряду с этим в Советском Союзе предпринимались меры по дальнейшей публичной поддержке и популяризации НОД. На протяжении второй половины 1942 г., помимо многочисленных сообщений, в газетах и журналах систематически публиковались статьи, в которых подчеркивались размах и организованность народно-освободительной борьбы в Югославии, то, что она является примером для всех поработанных народов Европы, что ее ведет именно Народно-освободительная партизанская армия, руководимая Верховным штабом. Популяризировался ряд руководящих деятелей НОД (фактический материал на сей счет уже приводился в литературе [4, с. 32—33; 7, с. 20—21; 16 с. 58—62]). То, что советская печать, публикуя большое число сообщений и статей о Югославии, указывает в качестве силы, борющейся против оккупантов, исключительно НОД, а не — как делалось на Западе — четников, специально отмечалось западной дипломатией, в частности в октябре 1942 г. послом США в СССР [54, р. 819].

Аналогичным образом народно-освободительная борьба освещалась в изданных массовым тиражом осенью 1942 г. Госполитиздатом брошюре «Югославия в огне партизанской войны» [57], написанной В. Влаховичем (автор был обозначен как И. Влахович), и брошюре Б. Н. Пономарева «Народы Европы против Гитлера», которая начиналась с обширного раздела о Югославии [49 с. 187—208]. При этом Влахович отмечал, что борцы за свободу Югославии именуются партизанами, а не четниками [57, с. 36], а Пономарев указывал, что четники являются пособниками оккупантов, вместе с ними борются против НОД, которое представляет собой единственную силу национального освобождения в Югославии [49, с. 206—207]. Пономарев писал, что четники действуют как враги народа, «маскируя свое предательство всевозможными названиями и авторитетами» [49, с. 207]. Смысл этой формулы был достаточно ясен: речь шла о покровительстве четникам со стороны эмигрантского правительства, о том, что Михайлович состоял в пем военным министром и именовался главнокомандующим «югославской армии на родине».

Предпринимавшиеся в СССР усилия по еще большей популяризации НОД и одновременно разоблачению четников дополнялись дальнейшими мерами по распространению соответствующих материалов в союзных и нейтральных странах. В этом, наряду с ТАСС и Совинформбюро, важную роль по-прежнему играли Всеславянский комитет и пропагандистские органы ИККИ. В середине августа 1942 г. секретариат ИККИ принял решение об усилении радиопропаганды развития партизанского движения в поработанных фашизмом странах, указав, в частности, на важность особого внимания к популяризации успехов народно-освободительной борьбы в Югославии [58, с. 315], а с октября 1942 г. были начаты упоминавшиеся выше передачи «Свободной Югославии» на английском, французском и чешском языках [38, 15 III].

В конце августа 1942 г. ЦК КПЮ указывал на единство между теми политико-пропагандистскими установками, которые должны были осуществляться НОД в самой Югославии, и теми, которые проводились из Москвы, в частности через «Свободную Югославию», в отношении Михай-

ловича и эмигрантского правительства: они характеризовались как «известное заострение внутри рамок [народно]-[освободительной] борьбы» [23, т. II, кн. 5, с. 405].

В русле такого «заострения» руководство НОД перешло с конца лета — осени 1942 г. к открытому выступлению против эмигрантского правительства как сознательно поддерживавшего предательство Михайловича и вставшего на антинародные позиции. Было решено вернуться к идее создания центрального политического органа НОД, который бы представлял собой «нечто вроде правительства», и информация об этом послана в Москву. В ответе, полученном от ИККИ, говорилось о поддержке создания общенационального политического органа НОД. Вместе с тем рекомендовалось применять гибкую тактику, не ставя пока прямо вопроса о судьбе монархии и не выдвигая лозунга республики. Подчеркивалась важность подхода к данной проблеме не только с национальной, но и с интернациональной точки зрения, с позиций общих целей борьбы против гитлеровского блока, содействия упрочению советско-англо-американской коалиции [36, с. 517]. Руководство НОД выразило согласие с указанной тактической линией [13, с. 122]. 26—27 ноября на освобожденной территории в городе Бихач была созвана учредительная сессия Антифашистского веча народного освобождения Югославии (АВНОЮ). Оно было образовано как общеполитический орган НОД. В то же время с созданием АВНОЮ политически оформился новый национальный центр, выступавший от имени всех народов Югославии и на деле противостоявший эмигрантскому правительству.

Через радиостанцию «Свободная Югославия» об учреждении АВНОЮ была информирована мировая общественность [9, с. 106]. Решения I сессии АВНОЮ высоко оценивались советскими средствами информации, в различных изданиях, выходивших в СССР. При этом подчеркивалось, что АВНОЮ представляет все народы многонациональной Югославии, что оно образовано с целью мобилизации всех сил страны как для решения задач освободительной борьбы, снабжения народно-освободительной армии, так и для обеспечения условий жизни на освобожденной территории, где действуют народно-освободительные комитеты и управляет «сам народ» [59, 1942, № 12, с. 60—61; 1943, № 1, с. 62; 60, 1943, № 1, с. 54—55]. Орган ЦК ВКП(б) журнал «Большевик» указывал, что АВНОЮ и его исполком «стали центром освободительного движения югославского народа», что вокруг АВНОЮ «сплываются широчайшие слои югославского народа» [61, 1943, № 7—8, с. 58]. Та же мысль проводилась и другими органами печати [59, 1943, № 4, с. 41; 60, 1943, № 4, с. 12].

Выражением солидарности с НОД, пропагандой его военных и политических успехов явилась опубликованная в «Правде» 19 и 23 января и 10 февраля 1943 г. статья Б. Н. Пономарева «Европа в борьбе против Гитлера», выпущенная затем в виде брошюры. В ней вновь заострилось внимание на том, что «по-прежнему впереди всех поработанных стран Европы, борющихся за свое освобождение от гитлеровской тирании, идет Югославия», что НОАЮ, в которой созданы крупные воинские соединения, ведет масштабную борьбу, скользя значительные силы врага и создав большую освобожденную территорию — «этот свободный оазис в окутанной черным мраком „нового порядка“ поработанной Европе». В статье подчеркивалось, что силы НОД «не только шаг за шагом завоевывают национальное освобождение своей страны, но и оказывают немалую помощь общему делу разгрома немецко-итальянской коалиции. Своими замечательными подвигами они непосредственно помогают англо-американским войскам, действующим в Северной Африке» [49, с. 287—290, 297]. Акцент на этом последнем был не случаен: тем самым фактически ставился вопрос о необходимости отказа западных союзников от поддержки четников и о признании НОД.

В ответ на новые попытки эмигрантского правительства добиться положительного отношения СССР к четникам Советское правительство в январе — феврале 1943 г. еще раз указало, а также довело до сведения британского правительства, что Михайлович сотрудничает с оккупантами

и лишь НОД борется против них. Одновременно была отмечена роль АВНОЮ и народно-освободительных комитетов как органов борьбы против захватчиков [9, с. 109; 3, с. 154, 160—161]. В своих дипломатических демаршах, продолжавшихся и весной 1943 г., СССР решительно требовал от эмигрантского правительства, чтобы оно прекратило сотрудничество четников с врагом, публично осудило такую политику [3, с. 176; 22, р. 20]. В нашей историографии уже отмечалось, что действия советской дипломатии, сведения о которых получили распространение в печати союзных и нейтральных стран, представляли собой на практике серьезную поддержку обнародованного через «Свободную Югославию» 23 января 1943 г. обращения Верховного штаба НОАЮ и исполкома АВНОЮ к правительствам СССР, Англии и США о необходимости покончить с обманом, когда Михайлович, а через него и эмигрантское правительство, выступавшее вместе с союзниками, ведет борьбу на стороне оккупантов против НОАЮ и партизанских отрядов, сражающихся за дело союзников [9, с. 108—109].

В начале 1943 г. А. Иден высказывал опасения, как бы продолжение английской политики поддержки Михайловича не привело «к открытому столкновению с русскими» [33, р. 52]. 9 марта 1943 г. в меморандуме правительству СССР правительство Англии вновь попыталось поставить на обсуждение идею «общего фронта» между четниками и НОД, по-прежнему трактуя четническое движение как организацию Сопrotивления, хотя на сей раз уже не ставя вопроса о подчинении НОД Михайловичу. При условии советского содействия «общему фронту» британская сторона изъявляла готовность поддерживать все «элементы Сопrotивления», включая «партизан», установить с последними связь и убедить эмигрантское правительство и Михайловича «пойти навстречу» им. В качестве «первого шага» предлагалось прекратить «нынешние взаимные обвинения в прессе и по радио», причем подчеркивалась «озабоченность» выступлениями советской печати и радио против Михайловича [44, с. 155—156].

Советское правительство воздержалось от официального ответа [62, с. 78], но беседа 9 марта британского посла с народным комиссаром иностранных дел СССР В. М. Молотовым не оставляла сомнений в отрицательном отношении СССР к плану Лондона [40, р. 290]. Такой же была позиция, изложенная затем в советском внешнеполитическом издании — журнале «Война и рабочий класс», где подчеркивалось, что Михайлович ведет борьбу не против фашистских оккупантов, а вместе с ними против НОД и что он и те, кто его поддерживает, пытаются «сберечь свои силы до того дня, когда они могут понадобиться для поддержания „порядка“ в стране против „анархии и хаоса“, якобы неизбежных в случае изгнания немецко-итальянских оккупантов». Далее резюмировалось, что «нетрудно догадаться, о какой „защите порядка“ мечтают Михайловичи, глядящие в современные Кавеньяки» [63, 1943, № 6, с. 9]. Как уже указывалось в советской историографии, это был фактически публичный ответ на британский меморандум, где поддержка Михайловича аргументировалась тем, что «его организация обеспечивает наилучшие шансы для предотвращения возникновения анархии и хаоса в Югославии» после ухода оккупантов [8, с. 14]. Одновременно этим практически указывалось на классовый смысл политики как Михайловича, так и его покровителей.

Наряду с военными и политическими успехами НОД, позиция СССР была одним из важнейших факторов, принудивших Англию к изменению политики в Югославии. Весной — в начале лета 1943 г. британскими органами были приняты первые меры по свертыванию крайне прочетнической и враждебной НОД пропаганды югославского эмигрантского правительства [51, с. 61—62]. В мае 1943 г. в Верховный штаб НОАЮ прибыли английские офицеры связи, а в сентябре — военная миссия, включившая затем и представителей США. В июле 1943 г. правительство Англии сообщило СССР о пересмотре прежней политики и переходе к оказанию поддержки «всем элементам Сопrotивления в Югославии независимо от их политической окраски...» [62, с. 78].

Однако Лондон все еще пытался поддержать четников. В сентябре

1943 г. при подготовке Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании последняя внесла в повестку дня вопрос о «совместной политике в отношении движения Сопротивления в Югославии», призванной «добиться некоторого рода *modus vivendi* между Михайловичем и партизанами» [64, т. I, док. № 10, с. 48; док. № 29, с. 75—76].

Руководство НОД, предполагая на конференции обсуждение вопроса о Югославии, информировало правительство СССР, что не хочет признавать эмигрантское правительство и короля, поддерживающих Михайловича и ответственных за его предательство, и что единственная законная власть — народно-освободительные комитеты и антифашистские веча [65, с. 186].

В этих условиях 16—17 октября 1943 г. в Москве непосредственно перед конференцией (она состоялась 19—30 октября) был созван VI пленум Всеславянского комитета, на котором в качестве первого пункта повестки дня было поставлено сообщение вице-председателя комитета Б. Масларича о народно-освободительной борьбе в Югославии. В нем подчеркивались выдающиеся успехи НОД. Сообщение было положено в основу статьи Б. Масларича и В. Влаховича, опубликованной в те же дни журналом «Славяне». В ней не только разоблачался коллаборационизм Михайловича, но и прямо указывалось, что «его поддерживали реакционеры из югославского правительства в Лондоне». VI пленум Всеславянского комитета принял приветствие воинам НОАЮ и югославским партизанам и заклеил четников Михайловича, которые «сражаются вместе с оккупантами против верных сынов собственного народа» [39, ф. 6646, оп. 1, д. 54, л. 25; 60, 1943, № 10, с. 17—25; № 11, с. 17—19, 45]. Хотя указанная позиция публично выражалась от имени международной общественной организации, действовавшей с территории СССР, было очевидно, что она является целиком и позицией Советского Союза. Приветствие Всеславянского комитета бойцам НОАЮ и партизанам опубликовала советская печать в момент открытия Московской конференции.

В итоге британской стороне уже в ходе конференции пришлось снять свое предложение с повестки дня, хотя она первоначально и пыталась отставать его. Вместе с тем во время конференции В. М. Молотов информировал А. Идена о намерении Советского правительства послать миссию к И. Броз Тито и поставил вопрос о предоставлении для связи с ней британской базы на Средиземноморье. Британские попытки убедить советскую сторону, чтобы миссия СССР была направлена также к Михайловичу, остались безрезультатными. С советской стороны было вновь выражено отрицательное отношение к четникам [64, т. I, док. № 47, с. 156; док. № 49, с. 189; док. № 55, с. 258—259; док. № 95, с. 345].

В результате Московской конференции упорно ставившийся Лондонском вопросе об «объединении» или «общем фронте» НОД с четниками Михайловича был, наконец, снят с повестки дня межсоюзнических отношений. На состоявшейся вслед за тем 28 ноября — 1 декабря 1943 г. Тегеранской конференции руководителей СССР, США и Великобритании Англия и США были вынуждены признать НОД основной союзнической силой, действующей в Югославии. Британская сторона, выразив готовность предоставить базу для связи с советской миссией, которая будет направлена к Тито, не поднимала больше вопроса о Михайловиче. В решениях Тегеранской конференции речь шла об оказании военной поддержки лишь «партизанам в Югославии» [64, т. II, док. № 53, с. 98—99; док. № 55, с. 104; док. № 57, с. 129; док. № 60, с. 149; док. № 64, с. 173].

Так, вследствие героической освободительной борьбы народов Югославии и при последовательной помощи Советского Союза югославское НОД получило официальный статус единственного союзнического военного фактора в Югославии, совместно признанного ведущими державами антигитлеровской коалиции. Это серьезно усиливало его позиции и наносило удар по четникам и эмигрантскому правительству в момент, когда на II сессии АВНОЮ 29 ноября 1943 г. произошло конституирование новой Югославии.

1. История Югославии. Т. II. М., 1963.
2. *Славин Г. М.* Освободительная война в Югославии (1941—1945 гг.). М., 1965.
3. *Plenča D.* Međunarodni odnosi Jugoslavije u toku drugog svjetskog rata. Beograd, 1962.
4. *Zelenjtn V. V.* Odnos sovjetske javnosti prema narodnooslobodilačkom ratu Jugoslavije protiv fašizma (1941—1942).— In: Prvo Zasedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije. Zbornik radova naučnog skupa. Bihać, 1967.
5. *Славин Г. М.* Советская общественность и Антифашистское вече народного освобождения Югославии.— Советское славяноведение, 1969, № 3.
6. *Славин Г. М.* Об откликах в СССР на восстание в Югославии (1941 год).— Советское славяноведение, 1972, № 4.
7. *Славин Г. М.* Об освещении народно-освободительной борьбы в Югославии советской печатью (1941—1942 гг.)— Советское славяноведение, 1975, № 1.
8. *Гибианский Л. Я., Зеленин В. В.* СССР и борьба югославских трудящихся за народную республику (1941—1945).— Советское славяноведение, 1970, № 6.
9. Советский Союз и борьба народов Центральной и Юго-Восточной Европы за свободу и независимость. 1941—1945 гг. М., 1978.
10. *Гиренко Ю. С.* Советско-югославские отношения (страницы истории). М., 1983.
11. *Зеленин В. В., Романов В. Е.* Действия СССР на международной арене в поддержку югославского народно-освободительного движения.— Советское славяноведение, 1983, № 4.
12. *Гибианский Л. Я.* Югославский вопрос в антигитлеровской коалиции и позиция СССР (1941—1942 гг.)— Балканские исследования, вып. 9. Вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. М., 1984.
13. *Мораца Р.* Odnosi između Komunističke partije Jugoslavije i Kominterne od 1941 do 1943 godine.— Jugoslavenski istorijski časopis, 1969, br. 1—2.
14. *Kljaković V.* Velika Britanija, Sovjetski Savez i ustanak u Jugoslaviji 1941 godine.— Vojnoistorijski glasnik, 1970, br. 2.
15. *Kljaković V.* Jugoslavensko-britanski odnosi i Kominternina 1941—1943.— Časopis za savremenu povijest (Zagreb), 1977, br. 2.
16. *Терзиоски Р.* Некои оценки на советската периодика од времето на Втората светска војна за борбата на југословенските народи (1941—1945).— Институт за национална историја. Гласник, 1976, бр. 2.
17. *Pijade M.* Priča o sovjetskoj pomoći za dizanje ustanka u Jugoslaviji.— Pijade M. Izabrani spisi, t. I, knj. 5. Beograd, 1966.
18. *Дедијер В.* Јосип Броз Тито. Прилози за биографију. Београд, 1953.
19. *Дедијер В.* Tito. New York, 1953.
20. *Дедијер В.* Novi prilozii za biografiju Josipa Broza Tita. T. 1—2. Rijeka — Zagreb, 1980—1981.
21. Округли сто «Борбе»: Разговор о књици «Нови прилози за биографију Јосипа Броза Тита» Владимира Дедијера.— Борба, 1982, 14 I—2 II.
22. Yugoslavia and the Soviet Union 1939—1973. A Documentary Survey. Ed. by S. Clissold. London, 1975.
23. Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских народа, т. I—XIV (часть томов надана латиницей). Београд (начало издания с 1949 г.).
24. Историјски архив Комунистичке партије Југославије, т. I, кн. 1. Београд, 1949; Istorijski arhiv Komunističke partije Jugoslavije, t. 1, knj. 2. Beograd, 1949.
25. *Броз Тито Ј.* Борба за ослобођење Југославије 1941—1945. Београд, 1947.
26. *Броз Тито И.* Избранные статьи и речи. М., 1973.
27. *Гибианский Л. Я.* Из истории становления новой Югославии (1941—1943).— Советское славяноведение, 1983, № 6.
28. Комунист, 1975 12 V.
29. *Vukčanović Tempo S.* Revolucija koja teče. Memoari, knj. 1. Beograd, 1971.
30. *Буретић В.* Карактеристике устанка 1941 године у Црној Гори и Босни и Херцеговини (паралела).— Историјски записи, књ. XXVI (1969), св. 2—3.
31. *Мораца Р.* Jugoslavija 1941. Beograd, 1971.
32. *Barker E.* British Policy in South-East Europe in the Second World War. London, 1976.
33. *Barker E.* Some Factors in British Decision-making over Yugoslavia 1941—1944.— In: British Policy Towards Wartime Resistance in Yugoslavia and Greece. London, 1975.
34. *Roberts W. R.* Tito, Mihailović and the Allies, 1941—1945. New Brunswick (New Jersey), 1973.
35. *Валец Л. Б., Марфина В. В., Славин Г. М.* Всеславянский комитет и освободительное движение зарубежных славянских народов в период второй мировой войны.— В кн.: История, культура, этнография и фольклор славянских народов. М., 1973.
36. Коммунистический Интернационал. Краткий исторический очерк. М., 1969.
37. *Пономарев Б. Н.* Георгий Димитров в борьбе против фашизма в период второй мировой войны.— В кн.: Воспоминания о Георгии Димитрове. М., 1982.
38. *Влаховић В.* Сећања.— Политика, 1975, 12—22 III.
39. ЦГАОР СССР.
40. *Woodward L.* British Foreign Policy in the Second World War. V.III. London, 1971.

41. Tito — Churchill. Strogo tajno. Izabrao i uredio D. Biber. Beograd — Zagreb, 1981.
42. *Deakin F. W. D.* The Embattled Mountain. London, 1971.
43. *Тарасов Б. Н.* Политика Англии в отношении Югославии (июнь 1941 — ноябрь 1942 гг.). — Советское славяноведение, 1983, № 1.
44. Из истории советско-югославских отношений в период второй мировой войны. Документация. — Международная жизнь, 1958, № 8.
45. *Broz Tito J.* Sabrana djela. Т. 7—15. Beograd, 1979—1982.
46. *Marjanović J.* Ustanak i narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941. Beograd, 1963.
47. *Лекович М.* Значај скупштине родољуба Црне Горе и Санџака, одржане 16 јуна 1942 године у Тјентишту, у борби за разобличавање Д. Михаиловића у светској јавности и за међународну афирмацију НОП-а. — Исторички записи, књ. XXIII (1966), св. 4.
48. *Пономарев Б.* Югославия в огне партизанской войны. Фрунзе, 1942.
49. *Пономарев Б. Н.* Под знаменем Ленина — за мир и социализм. Избранные произведения. Т. 1. М., 1981.
50. *Kardelj E.* Borba za priznanje i nezavisnost Nove Jugoslavije. 1944—1957. Sećanja. Ljubljana — Beograd, 1980.
51. *Ђуреџић В.* Vlada na bespuću. Internacionalizacija jugoslovenskih protivrječnosti na političkoj pozornici drugog svjetskog rata. Beograd, 1982.
52. *Marjanović J.* Draža Mihailović između Britanaca i Nemaca. Knj. I. Zagreb — Beograd, 1979.
53. Документы о советско-югославском боевом содружестве в годы второй мировой войны. — Военно-исторический журнал, 1978, № 5.
54. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. 1942, v. III. Washington, 1961.
55. Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Документы и материалы. Т. 1. М., 1946.
56. *Keesing's Contemporary Archives.* Weekly Diary of World—Events (Bristol).
57. *Влахович И.* Югославия в огне партизанской войны. М., 1942.
58. *Кунина Д. Э.* Георгий Димитров, Коминтерн и проблемы Великой Отечественной войны советского народа. — В кн.: Георгий Димитров — выдающийся революционер и теоретик. М., 1982.
59. Коммунистический Интернационал.
60. Славяне.
61. Большевик.
62. *Земсков И.* О так называемом «разделе» Югославии на «сферы влияния». — Международная жизнь, 1958, № 8.
63. Война и рабочий класс.
64. Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Сборник документов. Т. I. Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (19—30 октября 1943 г.) М., 1978; т. II. Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании (28 ноября — 1 декабря 1943 г.). М., 1978.
65. *Трго Ф., Лекович М., Боич М., Клякович В.* Историчке решенија Тито. 1941—1945. Белград, 1980.



КУЗЬМИН М. Н.

## ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО Я. А. КОМЕНСКОГО В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕХОДА ОТ ФЕОДАЛИЗМА К КАПИТАЛИЗМУ

Исследование, интерпретация и оценка творчества основоположника педагогики нового времени Яна Амоса Коменского шла в послевоенные годы под интенсивным воздействием трех крупнейших комениологических открытий XX в., существенно обогативших представление о научном наследии великого чешского мыслителя: ленинградского рукописного сборника, рукописи «Всеобщего совета об исправлении человеческих дел» и шеффилдского архива Гартлиба. Особенно значительный и глубокий резонанс имела публикация фундаментального философского труда Я. А. Коменского «Всеобщий совет» (Прага, 1966), считавшегося утраченным и разысканного в середине 30-х годов в Халле известным славистом Д. Чижевским.

Публикация «Всеобщего совета», не только открыла Коменского как одного из крупнейших философов своего времени, но и представила в новом свете смысл его педагогического творчества. Педагогическая система Я. А. Коменского обрела широкий социально-философский контекст, предстала частью его концепции исправления мира через исправление человека.

Эти открытия по существу продиктовали современной комениологии задачу преодоления позитивистской традиции односторонней интерпретации Я. А. Коменского только как педагога, задачу максимально полного учета всего творческого наследия Я. А. Коменского и его публикации<sup>1</sup>. Необходимость перехода к комплексному, междисциплинарному исследованию творчества Я. А. Коменского, всесторонней оценки наследия этого выдающегося социального мыслителя стала остро актуальной.

Одним из важнейших направлений изучения духовного наследия Я. А. Коменского является несомненно анализ общественно-исторических условий, а в их рамках — социальных и культурных детерминант, которые обусловили рождение этой огромной философско-педагогической системы, не только синтезировавшей общую концепцию воспитания человека нового времени, но и попытавшейся определить место и роль воспитания в развитии человечества в целом [1, с. 147—150].

Задача адекватной реконструкции объектно-субъектной взаимосвязи творчества мыслителя с потребностями развития общества и движением

<sup>1</sup> Чехословацкая Академия наук начала в 1969 г. издание фундаментального 27-томного (в 55 книгах) «Полного собрания сочинений Я. А. Коменского», которое предполагается завершить к 2014 г. Издание преследует цель не только систематизировать творческое наследие Я. А. Коменского, но и ввести в научный оборот ряд неизвестных материалов, открытых в последнее время. Развернутый проспект издания помещен в сборнике [1].

истории является весьма сложной: она включает в себя широкий круг вопросов — от анализа социальных и духовных истоков его мировоззрения и характеристики главных актов его деятельности в контексте биографии страны и времени — и до раскрытия глубинных сопряжений его творчества с фундаментальными социокультурными процессами эпохи.

Очевидно, что подобная задача не может решаться усилиями какой-либо одной науки. Поэтому и определение общественных детерминант творчества Я. А. Коменского безусловно требует выхода за рамки предмета историко-педагогических и историко-научных исследований и может быть достигнуто лишь средствами более широкого историко-культурного и социально-исторического анализа. В этой связи представляется целесообразным попытаться с позиций исторической социологии культуры рассмотреть связь между некоторыми фундаментальными социальными и культурными сдвигами, происшедшими в ту переломную эпоху, и общественно-историческим содержанием научно-педагогического творчества Я. А. Коменского.

Коменский жил и действовал в эпоху гигантского межформационного перелома, постепенного и необратимого формирования во многих странах Европы буржуазного общества, быстро проходившего этап первоначального накопления

Коренные изменения в базисных социально-экономических структурах общества при переходе от феодализма к капитализму породили, как известно, двойную цепь социально-культурных потребностей. Они обусловили глубочайшую трансформацию всей системы культуры как сферы общественной жизни, где реализуется отражение обществом условий своего бытия, происходит выработка целей и способов освоения мира и обеспечивается взаимосвязь общественного и индивидуального сознания.

С одной стороны, становление и развитие промышленности, усиление обмена, расширение и интенсификация товарно-денежных отношений постепенно изменяли характер человеческой деятельности и разрушали старую сословно разьединенную и территориально разобщенную социальную структуру, базирующуюся на совокупности локально замкнутых экономических организмов. Складывалась новая социальная структура с неизмеримо более широкими и активными внутренними экономическими связями, с более свободными и широким «социальным пространством» — общенационального «гражданского общества». Мир людей той эпохи, их бытие существенным образом изменялись, раздвигались его социальные и территориальные рамки.

В этом новом изменившемся мире религия, монополюбно обеспечивавшая до тех пор концептуальную картину мира и место человека в нем, дававшая императивное истолкование целей, содержания и норм человеческого бытия, становится малопригодной. Возникает острейшая общественная потребность в концептуальном теоретическом осмыслении новых социально-исторических условий жизни общества и существования человека, а также выработки идеологических норм, адекватных новым общественным отношениям, целям и способам человеческой деятельности.

Этот-то сдвиг и стал мощным импульсом развития таких компонентов культуры, как философия, литература и искусство, наука, собственно идеология, игравших в средние века подчиненную религии роль.

С другой стороны, процесс образования новых классов и формирования новой общественной структуры сопровождался радикальными изменениями социального статуса индивида: ломкой прежней локальной системы его социальных связей (с присущим ей личным характером отношений и внешними принудительными регулятивами человеческого бытия), включением его в потенциально неограниченную систему «безличных» общественных связей, резким расширением его субъектной компетенции.

На смену «местно-ограниченному» в своей деятельности и отношениях (и тем самым в своем развитии) индивиду, действия которого скованы жесткими предписаниями традиций, ритуалов и прочих принудительных норм, приходит индивид «всемирно-исторический, эмпирически универсальный» [2, т. 3, с. 34], освобожденный от внешних корпоративно-сослов-



ных нормативов, обретший автономное поле деятельности (спектр и масштабы которой потенциально неограниченны), включенный в безличные и неограниченно широкие социальные связи.

Рождается новый исторический тип личности, характеризующийся (сравнительно с индивидом предшествующей исторической эпохи) более высокой степенью развития индивидуальности, неизмеримо более высокими возможностями и необходимостью развития личностных качеств. Как неоднократно указывал К. Маркс, это была новая ступень в историческом развитии человека, порожденная новым этапом развития самого общества [2, т. 3, с. 33—34; т. 46, ч. 1, с. 17—18, 100—101]. Присущий обществу свободной конкуренции «отдельный человек», освобожденный от естественных связей, отмечал он, есть результат истории [2, т. 46, ч. 1, с. 17—18]. Поэтому «различие между индивидом как личностью и случайным индивидом — не просто логическое различие, а исторический факт» [2, т. 3, с. 71].

Но эти кардинальные сдвиги в социальном статусе и социальной психологии индивида, в расширении системы его деятельности и отношений, диктовали необходимость формирования новых — внутренних — механизмов регуляции его поведения и деятельности, увеличения его внутренней культурной вооруженности. А это требовало расширения средств трансляции культуры и формирования индивида, а также перестройки общественно-психологических механизмов его социальной ориентации.

Новая социальная реальность обнаруживает, таким образом, недостаточность в данных общественно-исторических условиях прежних механизмов социализации индивида и порождает настойчивую общественную потребность в создании института массовой всеобщей школы.

В новых условиях становится очевидной непригодность религиозной концепции человека и основанного на ней воспитательного идеала, вытекающих из него целей и задач воспитания и образования, их содержания и методов. А это порождает потребность выработки новой философской концепции человека, нового идеала и целей воспитания, соответствующих новым общественно-историческим условиям. Таковы были общественно-исторические возможности и потребности, которые обусловили рождение педагогической науки нового времени.

Следует отметить, что часть из вышеназванных социокультурных проблем переходной эпохи активно стремился разрешить в своей идеологии и практике протестантизм, существенно модифицировавший религиозную трактовку человека и целей его земного бытия [3], переведший внешнюю принудительную опеку церковных ритуалов в плоскость внутренних моральных императивов человеческого поведения и поставивший вопрос о всеобщем обучении грамоте.

Не случайно, что педагогическая система Я. А. Коменского также выросла в русле идейного наследия Реформации, хотя разумеется ее идейные истоки гораздо шире и должны рассматриваться в общем контексте взаимосвязи творчества Я. А. Коменского с современной ему наукой и идеологией, с одной стороны, и общественными потребностями, с другой [4; 1, с. 5—36].

Весьма интересный в этом отношении материал дает недавно впервые опубликованная на русском языке «Автобиография» Я. А. Коменского [5], представляющая собой часть одного из последних его полемических произведений. В ней содержится рассказ о наиболее бурном тридцатилетии (1628—1658) жизни Коменского. Прежде всего это история его научных изысканий, которые часто двигались не столько внутренними побуждениями, сколько внешними обстоятельствами — в ответ на очевидные потребности эпохи, на прямые запросы ученых, на «социальный заказ» общественных деятелей.

В «Автобиографии» можно найти немало примеров тому, как остро были заинтересованы и с какой последовательной настойчивостью просили и побуждали Я. А. Коменского заниматься педагогическими проблемами — включая и вопросы разработки национальных школьных реформ — общественные и государственные деятели Англии, Голландии, Швеции.

Характерная закономерность: все это были экономически развитые, уже не католические страны, где интерес политиков к новой постановке школьного дела четко отражал и выражал общественную потребность в формировании индивида с новыми социально-необходимыми качествами.

В этом общественно-историческом контексте и становится особенно понятным общий смысл и главный итог научной деятельности Я. А. Коменского. Выступая как выразитель и продолжатель мощной прогрессивной национальной и европейской культурной традиции, глубоко почувствовав и поняв новую историческую реальность (чему безусловно способствовал его специфический индивидуальный жизненный опыт), Коменский синтезировал гигантскую сферу знания о человеке. Переосмыслив огромный комплекс философских, науковедческих, педагогических и психологических проблем — от общей концепции человека и социальной детерминированности всеобщего образования через транслируемое содержание культуры и совокупность воспитательной деятельности вновь к человеку — он создал самостоятельную и целостную систему педагогической науки нового времени.

Коменский дал столь пронизательные, глубокие и точные ответы на вопросы о природе человека, о смысле и истинных целях его воспитания, о законах и искусстве последнего, что ответы эти далеко перешагнули границы своего времени и сегодня продолжают оставаться богатейшей сокровищницей педагогической мысли, многие ценности которой не раскрыты полностью еще и донныне.

Следует, впрочем, отметить, что широкий общественный резонанс, внушительный социальный эффект индивидуальной деятельности Коменского-ученого в свою очередь стал возможен лишь в результате тех модификаций, которые произошли в функциях отдельных компонентов культуры (и в частности — науки) в связи с формированием системы культуры нового времени. Мы имеем в виду расширение социальной миссии самой науки и понимание этого процесса Я. А. Коменским.

Теоретическое знание, наука, которая была до той поры лишь средством рационального объяснения мира, в XVI—XVII в. резко расширяет свои социальные функции. Обретая связь с техникой нарождающегося капиталистического производства, обогащаясь экспериментом и связью с практикой, она становится, наконец, также и базисом деятельности, средством преобразования мира. Именно на этой основе возникает дополнительный мощный импульс, обусловивший ее быстрый взлет. Происходит огромный скачок в развитии науки, характеризуемый в литературе как научная революция XVI—XVII в.

И хотя этот процесс удвоения социальных функций науки захватил в первую очередь естественное и техническое знание, общее движение повлекло за собой постепенно и общественные науки.

Даже создание общих контуров новой научной картины мира и общества оказалось задачей безмерно трудоемкой. Оно потребовало чрезвычайно напряженных усилий многих поколений мыслителей и ученых и заняло, как показала история, не менее трех столетий. Одновременно с тем общественная наука — в духе новой ее миссии — неоднократно дерзала выступить не только в роли истолкователя, но и устроителя мира. Конечно, до тех пор пока не были раскрыты структура общества и закономерности его движения и не был постигнут сложный механизм исторического процесса, этим идеям суждено было оставаться утопиями. Однако через них человеческая мысль упорно нащупывала внутренние взаимосвязи общественного организма и пути изменения существующего несправедливого мироустройства.

Именно поэтому, если мы переведем многие вопросы философско-религиозной полемики Я. А. Коменского с языка представлений теологической схоластики, присущего обществознанию XVII в., на язык понятий современной науки, то окажется, что обсуждению подвергался широкий круг фундаментальных проблем, тяготеющих в конечном счете к философии истории. И именно в этом контексте следует рассматривать значение и смысл философских, пансофических и педагогических исследований Ко-

менского. Ибо Коменский отчетливо ощущал эту новую роль науки как мощного рычага переустройства и преобразования мира.

Его надежды, его поиски в этом направлении не были абстрактными размышлениями кабинетного ученого: им двигало вполне конкретное чувство, перед ним стояла совершенно ясная цель.

Прожив более 40 лет в изгнании, Я. А. Коменский все эти годы настойчиво искал пути достижения главной своей жизненной цели — освобождения родины из-под власти Габсбургов. В первые два десятилетия цель эта, несмотря на все трудности, казалась все же весьма реальной, прижизненно достижимой: сначала надежду вселяла борьба между Протестантской унией и Католической лигой, столкнувшихся в Тридцатилетней войне (1618—1648), затем — дипломатические переговоры между ними. И Я. А. Коменский — европейски известный педагог и ученый, авторитетный церковный деятель — один из высших иерархов небольшой, но самостоятельной протестантской церкви «Община чешских братьев» активно стремился склонить к поддержке «чешского вопроса» многих влиятельных политиков протестантского мира. В уже упомянутой «Автобиографии» мы найдем немало примеров тому, сколь большое значение в самых различных жизненных ситуациях имели для Коменского эти соображения.

Но Вестфальский мир 1648 г. окончательно развеял эти надежды и заставил искать иные исторические силы, которые могли бы способствовать достижению желаемой цели — пусть не сейчас, хотя бы в перспективе. Вместе с тем, Тридцатилетняя война показала, что судьба его родины не может быть устроена без решения главных проблем современного ему европейского общества.

И Коменский ищет такой инструмент преобразования общества, который открыл бы человечеству путь к миру, справедливости и благоденствию. Он находит его в универсально организованном воспитании, т. е. в исправлении мира через исправление (посредством научно организованного воспитания) человека. Несмотря на очевидную и исторически объяснимую «спрямленность» видения Я. А. Коменским этой зависимости, данная идея, наиболее полно выраженная и обоснованная им во «Всеобщем совете об исправлении человеческих дел», содержала в себе постижение одной из глубинных взаимосвязей в структуре общественного организма. Последующее развитие европейской общественной мысли в сущности лишь более полно и точно раскроет механизм и определит условия ее реализации.

Взаимосвязь социально-философской концепции Я. А. Коменского и его педагогической системы является сегодня одной из центральных тем комениологических исследований. И может быть именно эта взаимосвязь позволит раскрыть истоки чрезвычайной исторической жизненности педагогической теории великого чешского мыслителя Яна Амоса Коменского. Ибо как неоднократно подтверждалось историей культуры, особая сила и эффективность бывает присуща именно той гуманистической теории, которая формируется не просто как теоретическое отражение части картины мира, но вырабатывается одновременно и как теория практического социального действия.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Otázky současné komeniologie. Praha, 1981.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
3. Митрогин Л. Н. Протестантская концепция человека. — В кн.: Проблема человека в современной философии. М., 1969, с. 355.
4. Саркош Д. Některé základní principy pedagogického myšlení J. A. Komenského. Praha, 1978.
5. Коменский Я. А. Избранные педагогические произведения. Т. I. М., 1982, с. 25—73.



ДМИТРИЕВ М. В.

## АНТИФЕОДАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РЕФОРМАЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI ВЕКА

В середине XVI в. Речь Посполитая стала ареной острой общественно-религиозной борьбы. Реформационное движение тесно переплеталось здесь с шляхетским движением «экзекуции прав» и было использовано правящим классом в борьбе с имущественными привилегиями и могуществом католической церкви. Реформация, со своей стороны, получила на время прочную социальную опору в лице шляхты, среди которой быстро распространился протестантизм в его кальвинистской версии. В 1562—1563 гг. шляхетская реформация достигла своего апогея. По решению Петровского сейма была временно ограничена церковная юрисдикция, прекращена выплата аннат папскому Риму и отменена десятина, дебатировался проект создания в Польше «национальной церкви». Принятые решения послужили почвой для утверждения принципов веротерпимости и во многом сделали возможным возникновение и развитие в Речи Посполитой течений так называемой «радикальной реформации»<sup>1</sup>, идейным знаменем которой стал антитринитаризм, то есть учение о ложности богословских представлений о троичности бога. В середине 60-х годов XVI в. антитринитарские общины отделились от кальвинистских и образовали так называемую «младшую церковь». Сами антитринитарии называли себя «истинными христианами» или Польскими братьями, а от противников получили прозвище ариан, якобы продолжателей ереси Ария, возникшей еще в IV в. Поздний арианизм более известен под названием социнианизма (по имени ведущего идеолога Польских братьев в конце XVI в. Фауста Социна). В 1658 г. антитринитарии постановлением сейма были изгнаны из Речи Посполитой и образовали колонии во многих странах Европы.

Некоторые вопросы истории движения Польских братьев рассматривались советскими историками в связи с изучением ересей на Руси [1] или в рамках белорусско-литовского реформационного движения [2]. Это начинание заслуживает продолжения, поскольку без исследования генезиса, судеб и особенностей радикально-реформационного движения в Речи Посполитой невозможно полностью понять ни восточноевропейскую и шире — европейскую — реформацию, ни многие явления общественной жизни западно- и южнорусских земель в XVI—XVII вв., ни, наконец, специфику развития славянских культур в указанное время. Эти проблемы остаются актуальными и для современной польской историографии, отказавшейся от схематических и априорных концепций, согласно которым

<sup>1</sup> Под радикальной реформацией принято понимать те реформационные движения, которые отрицали не только частные стороны католического культа, церковной организации и вероучения, но и коренные принципы христианского богословия, целиком отвергали обрядность, не признавали необходимым существование централизованных церковных институтов.

польско-литовский арианизм был «идеологическим оружием назревшей антифеодальной революции» и на рубеже 60-х и 70-х годов XVI в. в Польше вставал вопрос о перерастании радикально-шляхетской реформации в массовое антифеодальное движение [3]. Учение левого крыла польско-литовского реформационного движения второй половины XVI в. рассматривается лишь в качестве пролога к позднейшим философско-этическим реформационным доктринам [4; 5]. В оценке социально-политических идей Польских братьев «был отброшен как тезис Ст. Кота о чисто религиозной природе их идеологии, так и вульгарный подход, связывающий ее непосредственно с классовыми конфликтами». Раздался призыв отказаться от представления об арианах как об «идеологах крестьянской войны, невозможной в ренессансной Польше», и обратить внимание на «действительно революционное понимание в их доктрине отношения человека к государству, светской власти и церкви, на содержащийся в ней культ физического труда и осуждение всякого социального угнетения» [4, с. 187—188]. Внимание было сосредоточено на изучении религиозно-философских и этических идей ариан, их вклада в традиции веротерпимости, истории социализма и его воздействия на развитие польской и европейской философии [6]. В результате вопрос о социальной сущности раннего арианизма был как бы отодвинут в сторону, проблема реформации как формы социального протеста оказалась вне круга исследовательских задач, а само понятие антифеодальной идеологии было заслонено более неопределенным термином «социальный радикализм» [7]. Прежде всего обратим внимание на некоторые особенности генезиса арианизма. Во-первых, давно замечено, что реформация не стала в Польше широко распространенной формой классового протеста городских низов. И даже радикальные ее течения, в том числе арианизм, оставляли равнодушной основную массу городского плебса. Попытки же вовлечь в реформационное движение крестьянство оказались совершенно безуспешными [8]. Поэтому не удастся проследить связи между арианизмом второй половины XVI в. и эпизодическими радикально-реформационными выступлениями первой половины столетия. Во-вторых, те течения европейской реформации, которые оказали большое влияние на формирование идеологии Польских братьев — итальянский антитринитаризм и немецкий анабаптизм — сохранили к середине XVI в. мало общего с народно-реформационными движениями первой трети века. Итальянский антитринитаризм был, по существу, отголоском «философской ереси», выросшей на почве гуманистического мировоззрения и не способной стать идейным обоснованием программы серьезного переустройства общественных отношений [9]. Немецко-моравский анабаптизм тоже не мог вдохновить своих приверженцев на активную социальную борьбу, поскольку к середине XVI в. он превратился в замкнутое, сектантское, реформистское учение, отбросившее остатки былой революционности [10]. В-третьих, и конфликт между проповедниками («министрами») кальвинистских общин, происходившими большей частью из городского плебса [11], и основным шляхетским контингентом реформационного движения, развившийся в конце 50-х — начале 60-х годов XVI в. и послуживший непосредственным прологом к возникновению антитринитарской «малой церкви», имел сложный характер и не поддается отождествлению с борьбой умеренной шляхетско-бюргерской оппозиции против радикальной плебейской тенденции в реформации. Ведь и среди проповедников, наряду с плебеями, было немало лиц шляхетского происхождения, а шляхетские патроны кальвинистских общин оказывались восприимчивее проповедников к новым богословским концепциям. Кроме того, и это главное, борьба группировок в кальвинизме происходила не в форме соперничества разных подходов к пониманию социального содержания реформационного движения, а в форме противоборства двух тринитологических доктрин.

Таким образом, арианизм изначально был довольно тесно связан с принципами шляхетского мировоззрения и с умеренными в социальном отношении течениями поздней реформации, что, несомненно, препятствовало складыванию стабильного антифеодального направления в его рамках.

Отсутствие адекватной социальной опоры вело к противоречиям в социальной программе движения. Для нее были характерны постоянная двойственность и стремление выразить антиэксплуататорские идеалы не нарушая норм классово ограниченного шляхетского мышления. С одной стороны, антифеодальные идеи плебейского течения арианской реформации чаще всего оставались под спудом конформистских, верноподданнических настроений шляхты, составлявшей главную опору арианских общин и выступавшей гарантом самого их существования; с другой — логика реформационной борьбы подводила идеологов польско-литовского антиринитаризма к постановке вопросов, подвергавших сомнению существующий общественный порядок и официальную идеологию. Антифеодальные по своей сути тенденции проявлялись на ранних этапах истории радикальной реформации в Речи Посполитой, особенно в 60-е годы XVI в. Антифеодальные мотивы заметны в учениях двух ведущих идеологов раннего арианизма — Петра из Гонёндза и Гжегожа Павла. Правда, сочинения Петра из Гонёндза [12], в которых он ставит социальные вопросы, до нас не дошли, но именно его книга «О первоначальной церкви», написанная в 1561—1563 гг., легла в основу общественно-политических воззрений левого крыла арианизма и именно в ней Ш. Будный усматривал исток антигосударственных выступлений плебейских реформаторов [13]. В источниках зафиксирован также факт посещения Петром из Гонёндза в середине 50-х годов XVI в. общин моравских анабаптистов, в которых была введена коллективная система производства и уравнивательные принципы распределения [14]. Именно под влиянием увиденного, по мнению современников Петра из Гонёндза, он «дошел до убеждений, граничащих с суевериями» [15]. Но конкретной реконструкции взгляды Петра из Гонёндза поддаются лишь в самом общем виде. В речи на Сецемирском синоде в 1556 г., переданной хронистом XVII в., Петр предстает как глашатай идеалов раннего христианства, признающий, однако, лишь мирный, реформистский путь исправления церкви и отдающий себе отчет в глубоком расхождении провозглашаемых реформаторами принципов и реальной социальной практики последователей реформационных учений [15, s. 111—115]. По свидетельству других авторов, Петр из Гонёндза учил, «что христианину не подобает властвовать и применять оружие» [16; 17], а Ш. Будный подчеркивал своеобразный максимализм социально-этических требований Петра, призывающего христиана к апостольскому подвижничеству [13, s. 61]. Трагическая судьба большинства произведений Петра из Гонёндза — их уничтожали не только противники радикальной реформации, но даже и ее покровители [12, s. 15—17] — лишает нас возможности точнее определить характер воззрений первого идеолога Польских братьев, хотя и можно констатировать, что в общей форме он сформулировал многие принципы будущей социальной доктрины арианизма (отрицание феодальной власти и государственных институтов, провозглашаемых антихристианскими, запрет пользоваться оружием, резкое противопоставление общины «истинных христиан» и внешнего мира, социально-этическая программа «наследования Христу» и др.), легшие впоследствии в основу учения арианизма об отношении к войне, к государству, о взаимоотношениях христианской общины и общества.

В сочинениях Гжегожа Павла [18; 19] социальные идеи еще более тесно и противоречиво переплетены с религиозно-догматическими. И хотя в его высказываниях можно найти недвусмысленную критику существующего порядка — угнетения и неравенства [19, s. 32, 90], хотя в 60-е годы XVI в. именно Гжегож Павел встал во главе самой решительной партии польско-литовских антиринитариев, пафос его мировоззрения составляли все-таки не социальные идеи. Роль его в истории арианизма состояла не столько в постановке социальных проблем, сколько в новом истолковании христианской догматики и этики. Программа общественного переустройства в его трактовке равнозначна сугубо религиозному обновлению, а способы борьбы за утверждение новых идеалов усматриваются лишь в пропаганде нетрадиционно объясненных христианских догматов. Мощный и резкий протест арианского идеолога претворяется исключи-

тельно в религиозные формы, а «стыковки» между религиозными и социальными идеалами (что было очень характерно для Томаса Мюнцера, например) не происходит, и религиозное учение не оправдывает общественного переворота.

Непоследовательность и двойственность социальной программы арианства отразилась и в решении Польскими братьями вопроса о крещении детей, что имело принципиальное значение в глазах современников, так как отказ от крещения детей означал косвенное признание анабаптистского учения в целом, включая его революционные элементы. Решиться на такой шаг было непросто, ибо за спиной анабаптистов маячила тень мюнстерской коммуны и Крестьянской войны в Германии. Принимая анабаптистскую доктрину, необходимо было определить отношение и к ее социальным идеям: потребительскому примитивному коммунизму, эгалитаризму и тотальному отрицанию государства. Хотя формально синод в Венгрове в декабре 1565 г. отмежевался от такого социального наследия [20], один из его участников констатировал «триумф этих жалких анабаптистов», отмечая, что из всех присутствовавших лишь 8 человек высказались за сохранение обряда детокрещения [21]. Официальная резолюция синода была выдержана тем не менее в примирительном духе, а его программные решения отмечены печатью непротивленческой этики [20, т. 2, с. 198—199].

Хотя социальная программа арианства формировалась в 50—60-е годы XVI в. в русле компромиссных, половинчатых и конформистских концепций, что особенно ясно видно из материалов синодальных протоколов кальвинистских и антитринитарских общин [20, т. 1, с. 133, 138—140, 272—276; т. 2, с. 65—69], середина и вторая половина 60-х годов характеризовались наибольшей активностью радикально-плебейского течения в арианстве, выдвигавшего антифеодальные лозунги. Повидимому, главным очагом радикальной антифеодальной реформационной проповеди стали земли, входившие в состав Великого княжества Литовского. Наиболее яркое свидетельство о пропаганде такого рода оставил Ротондус в письме к Гозию в сентябре 1567 г.: «Я видел и читал изданную в Гродно на польском языке книжку; по-моему, большего богохульства на Иисуса Христа не может быть высказано... Здесь провозглашается общность имущества и христианская свобода, не только порядок в церкви, но и вся власть в Речи Посполитой разрушается, требуется, чтобы ее не было ни у короля над народом, ни у господ над их подданными, ни у знатных над плебеями» [22]. Правда, и в Кракове в 1564 г. появился сборник проповедей, автор которых требовал ликвидировать духовное сословие и подвергнуть профанации костелы [23], а папский нунций Ф. Коммендони писал в своих донесениях в это время: «нет такого чудовищного вымысла, который не нашел бы в этом королевстве и автора и последователей; число еретиков растет угрожающе» [24, т. 1, с. 32]. Но, если верить современникам, по степени распространенности антитринитарских учений и активности антигосударственной и антисословной проповеди Литва заметно опережала коронные земли Речи Посполитой [21, с. 232; 25]. Поэтому вряд ли случайным является возникновение в Вильно в 1565 г., т. е. за четыре года до начала знаменитого утопического эксперимента в Ракове, радикальной анабаптистской общины, власть в которой захватили ремесленники и торговцы, выдвинувшие наряду с радикальными религиозно-догматическими лозунгами (отрицание божественности Христа, предельное упрощение обрядовых церемоний, отмена многих таинств и церковных праздников, очищение храмов от ритуальной утвари и икон) смелые антифеодальные социально-политические требования: «общность имущества и вытекающее из этого уничтожение всякой иерархии, государства и сословий», уравнение магнатов и шляхтичей в правах с плебеями. Протестантский пастор Г. Вейгель, изгнанный из общины и оставивший описание ее порядков и программы, видел в выступлении виленских радикалов прямую опасность для государства, которому, по его мнению, угрожал открытый мятеж [26].

Активизация радикальной антигосударственной и антисословной пропаганды на литовских и отчасти польских землях в середине 60-х годов XVI в. привела к острому конфликту арианизма и шляхетского государства. В 1566 г. в Люблине на заседании сейма был поставлен вопрос о принятии эдикта против антитрипитариев. Повод для такого акта дали сами ариане, которые, пользуясь напыльвом шляхты в Люблин, развернули в мае 1566 г. свою проповедь буквально на глазах у сейма. Несколько одновременных донесений указывают на антисословное и антигосударственное содержание арианской агитации [27]. Подготовленный проект эдикта вменял в вину Польским братьям не только отрицание официального вероучения, но и то, что они, «пренебрегая общим законом и властями, хотят смешать все сословия в Речи Посполитой и своим зловредным учением подрывают послушание подданных господам» [17, S. 272; 27, s. 54]. Как ни неожиданно, но эдикт не был утвержден лишь благодаря вмешательству католических епископов, заседавших в сенате, и папского нунция Руджери, которые справедливо опасались, что осуждение одних лишь ариан будет означать фактическое признание других протестантских течений — кальвинизма и лютеранства [27, s. 56—58]. Тем не менее, сеймовые дебаты и интриги показали, что движение Польских братьев в своих крайних, близких анабаптизму формах не умещалось в рамках шляхетской государственности. Стало также ясно, что шляхта не примет арианскую идеологию в ее радикальной версии. Таким образом, уже в 1566 г. возникла дилемма: выработка компромиссного *modus vivendi* и примирение с шляхтой или перспектива постоянного балансирования на грани изгнания из страны и превращения в узкое сектанское движение. Две основные причины делади неизбежным сближение с шляхтой: с одной стороны, невозможность найти скольконибудь прочную опору вне этого сословия, с другой — готовность части шляхты, в силу ее глубокой внутренней дифференциации и большой идейной мобильности, к восприятию некоторых положений арианской идеологии.

Центральным событием в истории арианизма второй половины 60-х годов XVI в. стала утопическая попытка воплотить в жизнь идеи «апостольского учения» и организовать общину «истинных христиан» в Ракове. Жизнь общины должна была строиться на принципах «христианской» справедливости и равенства. Содержание этих принципов, вокруг которых развернулись ожесточенные споры на синодах в Ивье, Пелшнице и Белжицах, могло быть самым различным — от традиционного религиозного санкционирования феодального гнета и «отнесения справедливости за небесную черту» до толкования христианских идеалов в духе «уравнительного коммунизма» и революционного отрицания государства, как это было в учении Т. Мюнцера. Польские братья были далеки от обеих этих крайностей. Под «христианской справедливостью» они понимали уничтожение пропасти между бедностью и богатством, равное участие в труде, уничтожение отношений господства и подчинения между феодалами и крестьянами, между государством и его подданными — и все это исключительно мирными средствами, путем религиозной проповеди.

В Литве пропаганду такого рода развернул Якуб из Калиновки, «утверждая, что ученикам Христовым не подобает занимать государственных должностей, иметь крепостных и холопов». Вместе с Павлом из Визны он отстаивал свои убеждения в 1568 г. на диспуте с представителем консервативной части арианского лагеря Ш. Будным. Субъективно программа общественного переустройства осознавалась Якубом из Калиновки и Павлом из Визны как процесс очищения мира от нагроможденных в нем «антихристом» грехов и пороков, к числу которых они относили и существование крепостного права, и наличие государства, сравнивая его с языческим Вавилоном. Несправедливой форме человеческих отношений противопоставлен идеал общности равных между собой «истинных христиан». На место разрушенных отношений господства и подчинения, несвободы и неравенства ставилась утопическая



модель братской, семейной связи, равной свободы, независимого труда. Иерархическую структуру общества должны были заменить отношения, исключающие всякие социальные градации и гарантирующие лишенную противоречий однородность некоего гармонического коллектива [13, s. 180—182].

Хотя все социальные проблемы осмысливались в сугубо религиозных категориях, а вдохновение и пафос черпались в христианском миропонимании, в паивно-утопических построениях Якуба из Калиновки и Павла из Визны видно несомненное социальное начало — импульсивный бунт против господствующих отношений эксплуатации. Но попытки теоретически обосновать этот бунт при помощи ссылок на тексты священного писания, не выходя в то же время за рамки христианской социальной доктрины, сводили на нет все усилия идеологов Польских братьев и отбрасывали их на позиции иррационализма, поскольку библейские тексты предоставляли более веские аргументы их оппонентам [13, s. 187]. Часто цитируемые в исторических исследованиях резкие и гневные выступления Якуба из Калиновки в защиту крестьян [13, s. 183] обесценивались пацифистским духом сопровождавших их оговорок.

Характерный мотив проповеди Якуба из Калиновки, как и всех идеологов левого крыла польской реформации, — противопоставление бедности богатству и утверждение, что только бедность отвечает требованиям христианского учения [13, s. 196]. Потенциально критика богатства содержала в себе и критику частной собственности вообще, но в конкретном идеологическом воплощении принцип отказа от частной собственности трактовался в тесной связи с идеалами самоотречения, ухода от мира, терпеливого страдания. Выдвижение же фигуры Христа в качестве идеала не только этического, но и социального, столь свойственное всему учению арианства и проповеди Якуба из Калиновки, в частности [13, s. 187; 28], не добавляло ни граña боевитости к последовательно непротивленческой программе польско-литовских радикальных реформаторов. В то же время подчеркивание бедности Христа и принадлежности его обездоленным слоям общества выражало стремление к ликвидации монополии господствующих классов на истолкование христианского вероучения и к обращению самого христианства против тех порядков, которые оно оправдывало. Но такая тенденция близка всем движениям социального протеста, проходящим под религиозным знаменем, и выражает двойственную природу самого христианства, которое родилось как продукт кризиса одной антагонистической формации и стало идейной санкцией другой, основанной на том же принципе частной собственности, что и первая.

Социальные взгляды Якуба из Калиновки и Павла из Визны отличались известной внутренней последовательностью, хотя трудно признать их систематизированными. В их основе — стремление к разрушению существующих общественных отношений, прежде всего, отношений феодальной зависимости, место которых занимает туманная утопия христианского равенства и свободы. Новый мир мыслится как полная антитеза старому: вместо подчинения — самовластие, вместо господства — отношения братства, вместо эксплуатации — обязанность трудиться, вместо христианства богатых — Христос угнетенных.

Спор, начатый в Ивье, был продолжен в Пелшнице в октябре 1568 г. Судя по сохранившемуся короткому протоколу, социальные вопросы здесь доминировали. В их решении две враждующие группировки ариан — кувявская во главе с М. Чеховицем и малопольская во главе с Г. Павлом — поддержали программу Якуба из Калиновки и Павла из Визны. Споры о Троице оказались несущественными при выработке общей социально-политической линии. Ариане заявили, что «министры» должны отказаться от такой службы, которая требует использования чужого труда, что они должны зарабатывать хлеб своими руками. «Также внушали и братьям, и шляхте: не подобает есть хлеб от пота бедных крестных ваших — сами трудитесь. Не подобает вам также жить в имениях, которые достались предкам вашим за пролитие крови. Про-

дайте такие имена, отдайте бедным» [20, t. 2, s. 221]. Социальное равенство, таким образом, понималось арианами как равная и всеобщая обязанность трудиться, а социальная несправедливость — как сосуществование «мира труда» и «мира праздности», обостряемое еще и осознанием того, что труд не спасает от бедности, а праздность сочетается с роскошью, в результате чего несправедливость как бы удваивается. В таком «трудовом» осмыслении социальных вопросов в скрытой форме содержится и идея вознаграждения по труду, бывшая достоянием многих утопическо-коммунистических движений нового времени и средневековья.

В том же ключе выдержаны и выступления Польских братьев против собственности. В их сознании существовала, как видно из протокола синода в Пелгнице, прямая связь между идеей непропорционального разделения бремени труда и антисобственническими идеями, причем именно в собственности усматривался источник социального неравенства. Более того, обсуждались уравнилельно-коммунистические принципы, реализованные в общинах моравских анабаптистов [20, s. 221]. Можно предположить, что дискуссия была продолжительной, но безрезультатной, поскольку на синоде в Белжицах в марте 1569 г., непосредственно предшествовавшем основанию раковской общины, та же тема была включена в повестку дня («О братьях богатых; о братьях бедных») [20, s. 223]. Видимо, в Белжицах было принято и решение об организации образцовой арианской общины в Ракове.

Создание «идеальной» христианской общины, «нового Иерусалима», стало кульминационным моментом развития польского арианизма во второй половине XVI в. Община была основана в имении одного из поддерживавших ариан шляхтичей — Яна Сеницкого. В 1569 г. в Ракове собрались все лидеры польско-литовского арианизма: Гжегож Павел, Мартин Чеховиц, Петр из Гонецца, Павел из Визны, Якуб из Калиновки, Ст. Фарновский, Л. Муудиус и др. [29]. Социальный состав общины был разнороден: к проповедникам плебейского происхождения присоединились радикально настроенные шляхтичи, например, Бжезинские [30]. Демократические, радикальные элементы преобладали на первых порах в Ракове, задавая тон идейной жизни общины. Видный деятель кальвинистской церкви Я. Ласицкий, говоря о Ракове, подчеркивал, что «только чернь присоединилась к этой секте, мало шляхты и никто, насколько знаю, из магнатов» [31]. Первый год существования Ракова прошел в практически не прерывавшихся, бесконечных спорах [32]. Уже в 1570 г. часть раковян во главе с М. Чеховицем выехала в Люблин, отказавшись от продолжения начатого дела. В самом Ракове Шимону Ронембергу удалось обуздать анархические устремления группы «министров», восстановить порядок и наладить более или менее размеренную хозяйственную деятельность. Раковский съезд продолжался в общей сложности до 1572 г., когда центр арианского движения переместился в люблинскую общину, а большинство проповедников разъехалось на службу в имения шляхтичей и магнатов [32, s. 49—50].

В фокусе раковских дискуссий оказались социальные вопросы. Стремление к осуществлению идеалов равенства и справедливости привело к упразднению в Ракове всякой иерархии, к полному устранению отношений господства и подчинения, выражением чего явился отказ «министров» от своих должностей — то есть к попытке реализации принципов «безвластия», столь дорогих арианским идеологам. Понятно, что камнем преткновения таких преобразований должна была стать проблема собственности как источника неравенства и угнетения. Польские братья самой логикой их учения были поставлены перед необходимостью введения уравнилельно-коммунистических правил в их общине и — что было следствием — равной и всеобщей трудовой обязанности.

Однако вопрос о том, существовала ли в Ракове общность потребления, не говоря уже о коллективной организации производства, трудно решить однозначно. С уверенностью можно констатировать лишь следующее: идея обобществления собственности оказалась в центре разногласий и споров; имели место эгалитаристские тенденции в идеологии и прак-

тике раковской общины; неудача именно в этой области предопределила судьбу всего утопического предприятия.

Указания на установление общности имущества в Ракове исходят исключительно из враждебного арианам лагеря. О «введении моравской коммуны» писал А. Любенецкий [32, с. 44]. Третий так характеризовал раковские порядки: «большинство эбионитов и анабаптистов продали имущество, выбрали, не стыдясь, какой-то лес для обитания и строят там поселения. По причине общности имущества более богатые из них разворились, а бедные, особенно Гжегож Павел со своими приспешниками, обогатились» [17, с. 315]. Из сообщения В. Венгерского видно, что он, не задумываясь, переносит известные ему анабаптистские правила на Польских братьев. Он пишет: «Гжегож Павел перебрался из Кракова в Раков, где секта новокрещенцев, или анабаптистов, которые вводя общность имущества, обычно в одной куче живут, ...начала гнездиться и располагаться» [33]. Все три свидетельства из-за их явной недоброжелательности не могут быть приняты за достоверные. Два других, исходящие от писателей более информированных, свидетельствуют лишь о желании ввести общность имущества. А. Венгерский писал, что такие настроения были занесены из Моравии, и Польские братья «намеревались сохранить эту абсурдную общность имущества» [34]. Ст. Любенецкий указывал на такого рода агитацию, исходящую от группы Гжегожа Павла [15, с. 240]. Поэтому нужно согласиться с мнением Я. Тазбира о том, что стремление членов Раковской общины ввести уравнилельно-коммунистические принципы вряд ли было практически реализовано [35].

Крах Раковской утопии знаменовал коренной перелом в судьбах радикальной реформации в Речи Посполитой. Начиная с 70-х годов XVI в. два процесса определяют развитие польско-литовского арианизма: с одной стороны, социальная стабилизация радикальной реформации и окончательное включение ее в рамки шляхетского движения [36], с другой стороны, трансформация идеологии движения Польских братьев, выразившаяся в пересмотре антифеодальных лозунгов 60-х годов XVI в. и в выработке новой, уже не социальной, а философско-этической программы, где проповедь, обращенная против существующего общественного порядка, сменилась призывами к личному самосовершенствованию в духе евангельских предписаний. Первые попытки ревизии раннеарианских принципов и идеалов были сделаны Гжегожем Павлом и Мартином Чеховицем [37, 38], а Раковский катехизис 1574 г., составленный Е. Шоманом, в котором, в частности, содержится «публичное моление» о благополучии короля, сената и всех сословий, стал своеобразной декларацией политической лояльности и благонадежности всего радикально-реформационного движения [39]. Эти тенденции были развиты в 80—90-е годы XVI в. Фаустом Социном, чья компромиссная идеологическая линия была особенно по душе присоединившейся к арианскому движению шляхте. Постепенно Социн и его сторонники приобрели решающее влияние в арианских общинах, полностью отказались от свойственных раннему арианизму атак на феодальное государство и сословия и окончательно подчинили арианскую реформацию интересам и потребностям польской и литовской шляхты. В XVII век арианизм вступил под именем социнианства, став реформационным течением с сугубо философско-этической программой, не требовавшей социальных перемен в Речи Посполитой.

Размеры статьи не позволяют сколько-нибудь подробно остановиться на еще одном весьма существенном вопросе — об антифеодальных тенденциях тех радикально-реформационных движений, которые в то время разворачивались среди православного населения восточно-славянских земель Речи Посполитой. А широкий размах реформационной и радикально-реформационной пропаганды, проводимой в этих землях совместными усилиями реформаторов и эмигрировавших в Литву в середине 50-х годов XVI в. русских вольнодумцев во главе с Феодосием Косым — факт несомненный [1, с. 59—69; 2, с. 24—33; 24, т. 2, с. 201—202; 40]. Более

того, учение Феодосия и его последователей, сформировавшееся несколько раньше аналогичных ему учений польско-литовских реформаторов и нашедшее многих приверженцев среди православного населения Литовского княжества, не уступало идеологии левого крыла польского арианства ни в пафосе отрицания церковных институтов и обрядности, ни в антифеодальной заостренности социальных идеалов, хотя и имело слабости, присущие учению ариан [1, с. 62—67].

В истории реформации в Речи Посполитой во второй половине XVI в. особое место занимают 60-е годы. В этот период, особенно в начале и середине 60-х годов, в пору складывания антитринитарского лагеря, довольно ясно дала о себе знать антифеодальная, антисословная тенденция арианского движения. Однако она не привела к возникновению стабильного антифеодального направления в рамках арианства. Кроме того, нельзя не заметить, что антифеодальные реформационные выступления происходили в основном на литовских территориях, что дает повод еще раз вернуться к неоднократно высказывавшимся предположениям о значительной роли русских еретиков, прежде всего последователей Феодосия Косого, в развертывании левореформационного движения в Литве (см. подробнее [41]). После открытого столкновения Польских братьев с государственной властью весной 1566 г. ариане отказались от антисословных лозунгов, которые провоцировали репрессии и отталкивали от движения шляхту. Радикальным реформаторам пришлось отойти от политической пропаганды, устранить малейшие намеки на революционность их учения и примириться с практической невыполнимостью в широких масштабах провозглашаемых социальных и этических принципов. Польские братья попытались реализовать свои идеалы в рамках одной образцовой общины, основав колонию в Ракове. Крах раковской утопии стимулировал процесс дальнейшего идеологического самоопределения арианства и привел к окончательному отказу от антифеодальных идей. В 70-е годы арианство стало превращаться в религиозно-этическое учение, равнодушное к социальным проблемам, а антифеодальные элементы его идеологии переплавились в систему декларативных этических требований.

Подводя общий итог, следует подчеркнуть, что движение Польских братьев не только в целом, но даже в своих наиболее радикальных и смелых проявлениях существенно отличалось от тех социально-реформационных явлений, к которым принадлежит мюнцеровская реформация и революционный анабаптизм и которые в советской историографии объединяются в понятие «народная реформация». Движение Польских братьев отличалось от них своим ограниченным масштабом, пацифизмом, который был обусловлен слабостью социальных групп, поддерживавших левые течения польско-литовского антитринитаризма, и прежде всего тем, что оно сумело лишь в слабо и далеко не адекватной форме выразить социальный протест угнетенных классов польского общества. Типологически арианство было ближе движению Чешских братьев, чем анабаптизму, а его идеология — П. Хельчицкому, чем Т. Мюнцеру. Но, хотя самостоятельных антифеодальных течений, подобных народной реформации, не возникло, наличие антифеодальных тенденций в радикально-реформационном движении Речи Посполитой второй половины XVI в. не вызывает сомнения. Судьба этих тенденций в восточноевропейской, и в частности, восточнославянской реформации заслуживает дальнейшего изучения.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Клибанов А. И.* Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М., 1977.
2. *Подокшин С. А.* Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина XVI — начало XVII в.). Минск, 1970.
3. *Котлянова З.* Arianie polscy. — *Nowe drogi*, 1949, № 4; *Лепший К.* Социальная программа левого крыла польского арианства. — Доклады и сообщения Института истории АН СССР, вып. 9. М., 1956, с. 153—166.
4. *Tazbir J.* Stan badań i postulaty studiów nad arianizmem. — *Studia z dziejów ideologii religijnej XVI—XVII w.* Warszawa, 1960.

5. *Ogonowski Z.* Antytrinitaryzm w Polsce: stan badań i postulatory.— Wokół dziejów i tradycji arianizmu. Warszawa, 1970.
6. *Chmaj L.* Faust Socyn. Warszawa, 1963; *Szczucki L.* Marcin Czechowic. Studium z dziejów antytrinitaryzmu XVI w. Warszawa, 1964; *Ogonowski Z.* Socynianizm a Oświecenie. Studia nad myślą filozoficzno-religijną arian w Polsce XVII w. Warszawa, 1966; *Ogonowski Z.* Socynianizm w świetle wielkich doktryn filozoficznych XVII w.— Człowiek i światopogląd, 1980, № 7(180), s. 22—33; *Tazbir J.* Dzieje polskiej tolerancji. Warszawa, 1972; *Tazbir J.* Państwo bez stosów. Warszawa, 1966.
7. Społeczeństwo wobec Reformacji.— In: Polska w epoce Odrodzenia. Państwo, społeczeństwo, kultura. Warszawa, 1970, Wokół dziejów i tradycji arianizmu. Warszawa, 1970; *Raków* — ognisko arianizmu. Warszawa, 1969; *Dzieje Polski.* Pod red. J. Topolskiego. Warszawa, 1976, s. 285—289; *Zarys historii Polski.* Pod red. J. Tazbira. Warszawa, 1980, s. 216—218.
8. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. T. X. Warszawa, 1965; *Urban W.* Chłopi wobec Reformacji w Małopolsce. Kraków, 1959.
9. *Горфункель А. Х.* Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения М., 1977, с. 296—328; *Чиголини Л. С.* Социальная утопия в Италии XVI—начала XVII в. М., 1980, с. 88—123.
10. *Чистозонов А. Н.* Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI в. М., 1964, с. 4, 147—186.
11. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. T. I. Warszawa, 1956, s. 27—32.
12. *Jasnowski J.* Piotr z Goniądza.— *Przegląd Historyczny*, 1936, t. 33.
13. *Budny Sz.* O urzędzie miecza używającym. Warszawa, 1932.
14. *Müller L.* Der Kommunismus der mährischen Widertäufer. Leipzig, 1927, s. 89—104; *Каутский К.* Предшественники новейшего социализма. Т. 2. М.—Л., 1925, с. 125—150.
15. *Lubieniecki St.* Historia Reformationis Polonicae. Warszawa, 1971.
16. *Sandius Ch.* Bibliotheca Antitrinitariorum. Warszawa, 1967, p. 41.
17. *Watschke T.* Der Briefwechsel der Schweizer mit den Polen. Leipzig, 1908.
18. *Grzegorz Paweł z Brzeziń.* O różnicach tarańniejszych to jest jako o jednym Bogu Ojcu, synu jego jednorodzonym, o duchu świętym prawdziwie rozumieć mamy. Wr., 1954.
19. *Grzegorz Paweł z Brzeziń.* O prawdziwej śmierci, zmartwychwstaniu i żywocie wiecznym. Wrocław, 1954.
20. Akty synodów różnowierczych w Polsce. Acta synodalia Ecclesiarum Poloniae reformatorum. Warszawa, 1972.
21. Miscellanea arianica.— Archiwum myśli filozoficznej i społecznej. T. VI. Warszawa, 1960, s. 232.
22. *Łukasiewicz J.* Dzieje kościołów wyznania helweckiego w dawnej Małej Polsce. Poznań, 1853, s. 58—59.
23. *Brückner A.* Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie. Warszawa, 1962, s. 143.
24. *Commendoni L. F.* Pamiętniki o dawnej Polsce. Wilno, 1847.
25. Relations des nonces apostoliques et d'autres personnes sur la Pologne de 1548 à 1690. Berlin — Poznań, 1864, p. 158—159; *Kot St.* Ausbruch und Niedergang des Täufertums in Wilna. 1563—1566.— *Archiv für Reformationsgeschichte*. Bd. 49, 1958, p. 222—223.
26. *Weigel J.* Necessaria Consideratio vel Memoriale de confusa multitudine Vilnae in lapidea Domini Palatini piaae memoriae, quam hypocritici anabaptistae duo vel tres homines profani regunt tacite inconsultis omnibus doctis; *Weigel J.* De confusionibus et scandalis excitatis in hac Ecclesia Vilmensi.— *Archiv für Reformationsgeschichte*. Bd. 49, 1958, s. 224—226.
27. *Bodniak St.* Sprawa wygnania arian w r. 1566.— *Reformacja w Polsce*, 1928, t. V.
28. *Błandrata J.* Przeciwwstawienie fałszywego Chrystusa i owego prawdziwego, narodzonego z Marii.— *Literatura ariańska w Polsce*. Warszawa, 1959, s. 15—31.
29. Wokół dziejów i tradycji arianizmu. Warszawa, 1970, s. 69—70.
30. *Raków* ognisko arianizmu. Warszawa, 1968, s. 59—61.
31. *Kot St.* Ideologia polityczna i społeczna Braci Polskich zwanych arianami. Warszawa, 1932, s. 36.
32. *Lubieniecki A.* Poloneutychia. Lwów, 1843.
33. *Węgierski W.* Kronika zboru. Kraków, 1817, s. 10—11.
34. *Węgierski A.* Libri quattuor Slavoniae Reformatae. Warszawa, 1973, p. 90.
35. *Tazbir J.* Między marzeniem a rezygnacją. W kręgu utopijnych oraz biblijnych legend XVI w.— *Odrodzenie i Reformacja w Polsce*, 1979, t. XXIV, s. 54.
36. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. T. VII. Warszawa, 1962, *Schramm G.* Die polnische Adel und die Reformation, Wiesbaden, 1965.
37. *Czechowic M.* Rozmowy chrystyjańskie. Warszawa, 1979.
38. *Grzegorz Paweł z Brzeziń.* Przeciw zdaniu o wojnie Jakuba Paleologa.— *Literatura ariańska w Polsce*. Warszawa, 1959, s. 33—58.
39. Catechesis et confessio fidei coetus per Poloniam congregatus in nomine Jesu Christi, Domini nostri crucifixi et resuscitati. Cracoviae, 1574.
40. *Herbest B.* Chrześcijańska a poządna odpowiedź. Kraków, 1567, k. aaa II; *Sielawa A.* Antelenchus.— *Архив Юго-Западной России*, ч. 1, т. VIII, вып. 1. Киев, 1914, с. 717.
41. *Дмитриев М. В.* О генезисе радикальных тенденций арианства в Речи Посполитой в 60-е годы XVI в.— В кн.: *Проблемы истории античности и средних веков*. М., 1983, с. 100—115.



СЕМЕНОВА Л. Е.

## МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV ВЕКА

Главным фактором, определявшим расстановку политических сил в Юго-Восточной Европе во второй половине XV в., стало распространение и укрепление османской власти на Балканах.

Ближайшей целью султана Мехмеда II после захвата в 1453 г. Константинополя было приобретение ключевых позиций на Черном море и на Дунае, открывавших дорогу в Северное Причерноморье и области нижнего и среднего Дуная. В выполнении этой программы важное значение придавалось завоеванию портов Килии и Белгорода, черноморских крепостей, являвшихся богатыми центрами торговли, способными платить султану дань и тем самым пополнять материальные ресурсы Порты.

Уже на следующий год после падения Константинополя, в 1454 г. султан направил флот в северные районы Черного моря, чтобы продемонстрировать свою силу в качестве нового хозяина Босфора. Правители Пелопонеса, Хиоса, Лесбоса, Трапезунда, Сербии, Генуи и Венеции поспешили с дарами на поклон султану, который потребовал от них ежегодной дани [1].

Претворение в жизнь стратегических планов утверждения Порты на Черном море и Дунае угрожало торгово-экономическим и политическим интересам стран региона (см. об этом подробно [2; 3, с. 290]). Стремясь воспрепятствовать дальнейшим османским завоеваниям на юго-востоке Европы, папство и правители европейских государств предпринимают крестовые походы против султана. Инициатива антиосманских действий часто принадлежала папству, боявшемуся сокращения сферы своего влияния, следовательно, и источников дохода.

Следует, однако, отметить, что в политической обстановке XV в. идея крестового похода использовалась для комбинаций, в которых Османская империя рассматривалась как один из возможных факторов в европейских делах.

В конфронтации Османской империи и государств Центральной и Юго-Восточной Европы определенное место занимали Валашское и Молдавское княжества. Соперничавшие стороны придавали большое значение их стратегическому положению, экономическим и материальным ресурсам. Особую заинтересованность в привлечении княжеств на свою сторону проявляли королевство Венгрия и Польско-Литовское государство. Венгрия противилась османскому продвижению на юго-востоке Европы и стремилась сохранить власть над подчиненными ей территориями. Ягеллоны пытались утвердиться в Северном Причерноморье. Главной целью обоих государств было установление контроля над важнейшими путями черноморской торговли и дунайской торговой артерией. В связи

с этим учитывалась особая роль международного «молдавского торгового пути», связывавшего северо-запад Европы с южными и восточными странами, и контролируемых молдавскими господарями портов Килии и Белгорода. В противодействии планам Порты Венгрия и Польша стремились укрепить свое влияние в Валашском и Молдавском княжествах, использовать их в антиосманских целях. Короли обеих стран постоянно вмешивались в борьбу боярских группировок за престол в княжествах. В этих условиях молдавский и валашский господа для сохранения своей власти использовали соперничество Венгрии и Польши, их конфронтацию с Портой, лавируя между ними в зависимости от внутренних и внешних политических обстоятельств.

С 1387 г. молдавские господа, стремясь обеспечить безопасность северных и северо-восточных границ страны, признавали себя вассалами польской короны. Опасность османского завоевания стала для Молдавского княжества реальной летом 1454 г., когда турецкий флот из 56 кораблей атаковал Белгород. Только многочисленными дарами султану город сумел откупиться. На уплату султану дани в 3 тыс. дукатов в марте 1455 г. была вынуждена согласиться генуезская колония Кафа [4].

Используя сложившуюся обстановку, султан продолжал концентрировать свои военные силы на юго-востоке Европы. В августе — сентябре 1454 г. османские войска напали на Сербию. Папа Калликст III провозгласил в декабре того же года антиосманский крестовый поход, который должен был возглавить венгерский король. Несмотря на успехи армии крестоносцев во главе с воеводой Трансильвании Яношем Хуньяди под Белградом в 1456 г. Венгрии не удалось отстоять Сербию. Начавшаяся после смерти деспота Лазара (1458) борьба среди сербских феодалов — между сторонниками Порты и венгерского короля — облегчила османам полное подчинение Сербии (1459). В 1460 г. в состав Османской империи была включена Морея [5; 3, с. 283].

В условиях тяжелого внутреннего положения в Молдавском княжестве в середине XV в., вызванного господством крупного боярства и постоянной борьбой между боярскими группировками, османская угроза заставила и вассала Польши молдавского господаря Петра III Арона осенью 1455 г. согласиться на уплату султану дани в 2 тыс. дукатов. Сместивший Арона с престола новый господарь Штефан III Великий (1457—1504) должен был на первых порах продолжать политику своего предшественника в отношениях с Портой. В то же время занятый войной с Тевтонским орденом польский король Казимир поспешил признать Штефана на молдавском престоле. 4 апреля 1459 г. Штефан присягнул польской короне [6, р. 266—268].

Штефан сосредоточил усилия на укреплении центральной власти в княжестве и стабилизации его внешнеполитического положения. Основную задачу внутри страны Штефан видел в укрощении крупного оппозиционного боярства. «Великие бояре», не желавшие мириться с новым положением, устраивали заговоры против господаря. Карая их за измену, Штефан в то же время старался путем земельных дарений привлечь на свою сторону среднее и мелкое боярство. Образовавшаяся в связи с этим прослойка служилых людей являлась его социальной опорой. Господаря поддерживали города и церковь, заинтересованные в сильной государственной власти.

Необходимость внешнеполитической консолидации в условиях возросшей османской опасности ставила перед Штефаном задачу организации сильной армии. Штефан в случае внешней опасности созывал большое войско «крестьянского типа» из числа феодально-зависимых крестьян, насчитывавшее до 40 тыс. человек [7, с. 265—266, 288—289]. Оно состояло из пехоты, конницы и артиллерии, которая могла быть использована главным образом при штурме и защите крепостей [8, р. 128].

Признав по условиям вассальной присяги право Польши на владение Хотинном, Штефан заручился обязательством польского короля не допустить Петра Арона в Молдавское княжество. В борьбе против своего

соперника Штефан столкнулся с королем Венгрии Матьяшем Корвиным (1457—1490), который стремился заставить молдавского господара признать венгерский сюзеренитет.

Штефан учитывал в своей политике соперничество Венгрии и Польши за влияние в Молдавском княжестве [9, р. 525]. 2 марта 1462 г. молдавский господарь подтвердил свою верность польской короне [6, р. 282—294; 10, с. 99—104] и затем предпринял наступление на Килию, которая была уступлена Венгрии господарем Петром II в 1448 г. за помощь в получении престола [12, р. 44].

Действия по возвращению Килии начались в момент, когда Венгрия была отвлечена событиями в Валахии, которая летом 1462 г. подверглась османскому нападению. Султан сверг Цепеша и сделал валашским господарем своего ставленника Раду Красивого. В июне 1462 г. молдавское войско окружило Килию с суши. Его атаки успеха не имели. Штефан был ранен в ноги и вынужден был отступить [11, р. 7].

В 1463—1464 гг. Матьяшу Корвину удалось отвоевать у султана часть территории Боснии, которая в качестве банатов Яйца и Зворник была присоединена к королевству Венгрии [8, р. 43—45; 13, с. 233]. С целью усиления контроля над устьем Дуная и укрепления своего положения в Килии Корвин решил передать крепость валашскому господарю Раду, признавшему венгерский сюзеренитет и являвшемуся одновременно данником Порты [14; 15]. Жители Килии, боясь оказаться под властью султана, начали переговоры с Польшей и ее вассалом молдавским господарем [16, р. 29—30]. Штефан попытался овладеть Килией. На этот раз марш-бросок молдавского господара от Сучавы до дунайской крепости был таким стремительным, что гарнизон не успел закончить военные приготовления. 23 января 1465 г. молдавские войска проникли в город и осадили крепость. Через два дня Килия была в руках Штефана [11, р. 7]. Валашский господарь Раду попросил у султана помощи против молдавского господара, но Штефан направил в Порту посла с данью и дарами.

Завоевание Килии обострило отношения с венгерским королем. Штефан поспешил укрепить границу с Венгрией, усилив свое влияние в области секеев. Это было важно потому, что секеи составляли авангард венгерских войск, направлявшихся на восток, в Молдавское княжество. Господарь поддерживал волнения секеев против произвола трансильванского воеводы и короля Матьяша [17, р. 226—227].

В 1467 г. при поддержке Штефана вспыхнуло восстание трансильванских феодалов с целью отделения от Венгрии. Однако оно не было поддержано народными массами, и Матьяшу Корвину легко удалось его подавить. Вмешательство Штефана в дела Трансильвании привело его к конфликту с Матьяшем Корвиным. В 1467 г. венгерские войска вторглись на территорию княжества. 19 ноября венгерский король достиг Тротуша. Отсюда его армия направилась вверх по долине реки Сирет и захватила города Бакэу, Роман, Байя. Попытки Штефана остановить движение венгерских войск не увенчались успехом; осложнившиеся в это время его отношения с боярством представляли серьезную угрозу. После ожесточенного сражения у Байи тяжело раненый Матьяш Корвин с остатками войск был вынужден покинуть молдавскую территорию [11, р. 7—9; 18, р. 92—94].

В 1469 г. Матьяш Корвин был избран феодалами-католиками королем Чехии и коронован папой. Но в 1471 г. чешским королем стал Владислав Ягеллон, что привело к образованию чешско-польско-австрийского союза, начавшего войну против Венгрии [13, с. 234].

Воспользовавшись занятостью венгерского короля чешскими делами, расправившись в 1469 г. со своим соперником Петром Ароном, Штефан начал борьбу с валашским господарем Раду Красивым, вассалом Венгрии и данником Порты, стремясь включить Валахию в сферу влияния Молдавского княжества. В 1470 г. войска Штефана разрушили и сожгли ряд пограничных валашских крепостей, в том числе порт Браилу. Не имея достаточных военных сил для ответного удара, Раду с одобрения



султана воспользовался помощью татар, которые в конце лета 1470 г. перешли Днестр, но были разбиты [11, р. 45].

В 1471 г. Раду выступил против молдавского господаря. Штефан опередил его и в местечке Сочи 7 марта нанес ему поражение [11, р. 57]. Это, однако, не решило главной задачи молдавского господаря — вывести Валахию из орбиты султанской политики.

Вступая в конфронтацию с султаном, Штефан понимал необходимость улучшения отношений с Венгрией. Матьяш Корвин, занятый в 1471—1474 гг. борьбой с Владиславом Ягеллоном за обладание чешской короной [19, с. 72], был также заинтересован в установлении мира с молдавским господарем. При посредничестве Трансильвании в 1471—1473 гг. налаживаются молдавско-венгерские торговые связи [12, р. 77, 80; 20], которые способствовали и взаимопониманию между сторонами в сфере политики.

Чтобы усилить свои позиции в Причерноморье, в том числе и в Килии, Штефан в 1472 г. женился на Марии, сестре правителей Мангупского княжества Исаака и Александра [11, р. 17]. В том же году молдавский господарь вел переговоры с правителем Туркменской «Персии» Узунуном Хасаном, пытавшимся организовать антиосманскую коалицию европейских государств [21]. Но в сражении при Эрзеруме (10 августа 1473 г.) Узун Хасан был разгромлен султаном Мехмедом II [22].

В 1473 г. Штефан возобновил военные действия против Валахии. Военные силы Раду были ослаблены, так как по приказу Порты 12-тысячное валашское войско должно было участвовать в экспедиции Мехмеда II против Узунуна Хасана [23, р. 46]. Трехдневная битва в уезде Рымник-Серат завершилась победой молдавского господаря. Раду был вынужден бежать в Турцию, господарем Валахии стал Басараб Лайота. Но в декабре с 15-тысячным османским войском Раду вернулся в княжество и изгнал Лайоту. Преследуя его, султанские отряды вторглись в Молдавское княжество, остановились у Бырлада, опустошая и разоряя соседние уезды, но вскоре отступили без столкновения с молдавским войском [11, р. 8, 9]. Весной 1474 г. Штефану удалось вернуть на валашский престол Лайоту.

Вскоре Лайота перешел на сторону Порты [24, р. 115, 116]. Тогда Штефан решил оказать помощь другому претенденту на валашский престол Басарабу Молодому или Цепелюшу, поддерживаемому Венгрией. Цепелюш с войском двинулся из Трансильвании через горы в Валахию. В 1474 г. Цепелюш, потерпев поражение от Лайоты, вынужден был возвратиться в Трансильванию. Штефан захватил город Теляжин и 20 октября разгромил силы Лайоты [11, р. 9].

Походы Штефана в Валахию, как и другие его внешнеполитические акции, вызвали раздражение у султана. Тем более, что с 1473 г. молдавский господарь прекратил выплату дани. В 1475 г. в Молдавское княжество был послан румелийский бейлербей Хаджи Сулейман-паша с войском около 100 тыс. человек (см. свидетельства разных источников: [16, р. 51; 25, р. 58]). Здесь же были и отряды Лайоты. Армия Штефана насчитывала 40 тыс. воинов, 5 тыс. секеев и 1800 венгров, которыми командовал Иштван Батори [16, р. 52; 25, р. 62]. В войсках Штефана находился и польский отряд в 2 тыс. человек. Жители сел по пути следования османов сжигали постройки, прятали скот, зерно, корм. В османском войске начался голод. 10 января 1475 г. у слияния рек Раковы и Бырлада произошло сражение, османы обратились в бегство [25, р. 58—64].

Экономика Молдавского княжества была тесно связана с генуезскими колониями на Черном море. Торговля с ними проходила через крепости в устье Дуная и порты Причерноморья. Султан понимал, что для подчинения Молдавского княжества необходимо в первую очередь лишить его главных торговых артерий. Первым шагом на пути осуществления этого плана стало завоевание османами Каффы в июне 1475 г. [26, р. 141—142]. Османская угроза нависла над Мангупским княжеством, с которым Штефана связывали не только политические отношения, но и родственные узы. В декабре 1475 г. османы осадили Мангупскую

крепость. Штефан послал для поддержки гарнизона отряд в 300 человек. Но крепость уже не могла сопротивляться [26, р. 145, 146; 27].

Падение Каффы и Мангуша поставило Молдавское княжество в тяжелое положение. Было совершенно очевидно, что следующей целью завоевательных устремлений султана окажутся молдавские крепости-порты Килия и Белгород. Штефан начал их укреплять [11, р. 34; 28].

Победа проосманских сил в Крымском ханстве (1475), превращение его правителя в послушного вассала Порты еще более осложнило внешнеполитическое положение Молдавского княжества. Польша начала склоняться к миру с Османской империей. Не рассчитывая на помощь польского короля, Штефан признал венгерский сюзеренитет [6, р. 330—336]. Матьяш Корвин пожаловал молдавскому господарю крепости в Трансильвании Чичейул и Четатя де Балтэ [26, р. 271; 29, р. 71]. В конце 1475 — начале 1476 г. венгерский король начал военные действия против османских сил в районе Шабаца. В феврале Матьяш захватил крепость, но этим и ограничился, будучи отвлечен борьбой с Фридрихом III [23, р. 81].

В 1476 г. султан через своего посла потребовал от молдавского господаря уплаты дани, которая не поступала в его казну с 1473 г. [30, р. 56]. Отказ Штефана привел к тому, что весной 1476 г. Мехмед II с 150-тысячным войском двинулся на Молдавское княжество. Штефан обратился за поддержкой к Матьяшу Корвину. Венгерский король послал в Трансильванию Влада Цепеша с приказом к трансильванским феодалам выступить на помощь Штефану. Татарские войска, предводительствуемые Эминеком Мирзой, беспрепятственно перешли Днестр и стали разорять княжество. Однако предпринятая в этот момент атака Золотой Орды на Крым заставила Эминека Мирзу поспешно вернуться с войсками к хану [31; 32, р. 171—172].

Между 10 и 26 июня 1476 г. османское войско перешло Дунай у Исаочи, достигло молдавской территории и продвигалось по долине Сирета. У крепости Пямц молдавская армия потерпела поражение, но Мехмеду II не удалось взять крепость [11, р. 9]. Не сдались и защитники крепости Хотина. В условиях затяжных военных действий османские войска оказались в тяжелом положении, не хватало продовольствия и фуража, распространилась чума. Вест о приближении венгерских войск во главе с Иштваном Батори и Владом Цепешем побудили султана принять решение об отступлении [16, р. 86—88].

Воспользовавшись этим, Штефан предпринял поход в Валахию, в котором приняли участие и войска Батори. Лайота был свергнут, валахский престол занял Влад Цепеш (16 ноября 1476 г.). В декабре Лайота вернулся в княжество с османскими отрядами [12, р. 96]. Это свело на нет усилия Штефана. Осенью 1477 г. он организовал новый поход в Валахию, устранил Лайоту и посадил на престол Цепелюша [24, р. 134], который очень скоро также сблизился с султаном. Не оправдал надежд Штефана и другой его ставленник Влад Кэлугэр.

Таким образом, многолетние попытки Штефана вывести Валахию из-под влияния Порты и сделать ее своим партнером в антиосманской борьбе оказались безуспешными. Не поддержало его антиосманских усилий боярство, не получил он помощи и со стороны европейских государств.

Занятые соперничеством друг с другом, ряд европейских правителей в конце XV в. пошли на заключение мира с Портой. С 1476 г. отношения с султаном установила Польша. В условиях обострившейся борьбы с императором Фридрихом III Матьяш Корвин в 1477—1479 гг. также вел переговоры с Портой. Сближение Корвина и Фердинанда Неаполитанского с Османской империей в момент усиления османской экспансии на Адриатике заставило и Венецию заключить мир с Мехмедом II (1479) [19, с. 117—118; 33]. В такой обстановке Штефан был вынужден согласиться на уплату османам дани<sup>1</sup>. Изменение политики молдавского

<sup>1</sup> О молдавско-турецких переговорах 1479—1481 гг. см. [32, р. 173—177]; сумма дани княжеству султану в это время, по данным румынского историка М. Берзы, составляла 6 тыс. золотых [34].

господаря в отношении Османской империи было вызвано обострением отношений с боярством [35, с. 122—123].

Еще в 1463 г. Штефан сделал первый шаг к сближению с Русским государством, женившись на сестре киевского князя Семена Олельковича Евдокии. В 1472—1473 гг. он наделся использовать посредничество русского великого князя для нейтрализации действий крымских татар на северо-восточных границах княжества [36, с. 102, 103].

Важное значение в русско-молдавском политическом сближении имел брак Елены (дочери Штефана и Евдокии) с Иваном, сыном Ивана III. Инициатива брака исходила от Штефана, искавшего в лице Русского государства сильного союзника в борьбе за независимость княжества. Молдавский господарь обратился к Михаилу Александровичу Олельковичу и князю Ивану Юрьевичу Пронскому с просьбой повлиять на княгиню Феодосию Александровну, или, как называют ее источники, Федку<sup>2</sup>, чтобы она «била челом» княгине Марье Ярославне, дабы та «печаловалася» сыну своему великому князю Ивану «взять за своего сына» дочь молдавского господаря Елену. Иван III дал согласие на этот брак. Штефан должен был прислать для переговоров в Москву «своего человека доброго» [37, с. 55]. Но посланец от господаря не прибыл и переговоры о браке тогда не состоялись. В 1480 г. русское правительство вернулось к вопросу о браке. В Молдавское княжество был послан дьяк Сухово, чтобы напомнить господарю о его предложении и просить прислать для переговоров «своего человека» в Крым к И. И. Звенцу, который доставит молдавского посла к Ивану III [37, с. 55—56]. Заинтересованность русского правительства в возобновлении переговоров о браке была вызвана стремлением Ивана III использовать Молдавское княжество в борьбе против Ягеллонов. Кроме того, в 1480 г. существовала и другая причина для начала переговоров о браке. В это время в Поднепровье в условиях широкой оппозиции развернулась борьба за сближение с Москвой. Становление русского централизованного государства вызывало необходимость присоединения древнерусского Поднепровья. Под предлогом посредничества в переговорах о браке Олельковичи и Иван III вели дипломатическую подготовку присоединения этой территории к Московской Руси [38, с. 188—194].

В 1481 г., когда отношения Ивана III с польским королем Казимиром улучшились, обмен послами между Россией и Молдавским княжеством происходил через литовские земли [39, с. 26; 10, р. 365]. В декабре 1482 г. посланные за невестой Андрей и Петр Плещеевы вернулись из Сучавы в Москву с дочерью Штефана. В январе 1483 г. состоялось бракосочетание Ивана Молодого и Елены «Волошанки» [40, с. 349, 350].

В исторической литературе существует мнение, что этот брак сопровождался русско-молдавским договором о союзе и помощи против Казимира<sup>3</sup>. Источники вполне определенно говорят о политическом сближении между Молдавским княжеством и Россией после 1483 г., об участившемся взаимном обмене послами. В это время Иван III налаживал дипломатические связи с соседями Казимира, окружая его кольцом своих союзников [43, с. 69]. Через Штефана русский царь установил отношения с Венгрией [37, с. 58—60, 293; примеч. 19, 20; 36, с. 249—251; 41, р. 178; 43, с. 69], чтобы, используя польско-венгерские противоречия, привлечь

<sup>2</sup> Княгиня Федка (Феодосия Александровна Олелькович) приходилась родной сестрой покойной жене Штефана Евдокии и князю Михаилу Олельковичу.

<sup>3</sup> К. В. Базилевич допускал существование такого договора, хотя отмечал, что в сохранившихся материалах нет прямых указаний на его заключение [36, с. 248]. Румынские историки П. Панаитеску и В. Костэжел высказывались более определенно в пользу такого договора, основываясь на последующих упоминаниях документов «любви» и «докончанья» между Иваном III и Штефаном [41, р. 177; 42]. Составитель I тома публикации документов «Исторические связи народов СССР и Румынии в XV — начале XVIII вв.», ссылаясь на докончальные записи и принесение присяги в посольских речах дьяка Константина, прибывшего в Москву в 1500 г. с предложением посредничества Штефана в русско-литовском конфликте, считают бесспорным, что союз между молдавским господарем и Иваном III был документально оформлен и заключен с соблюдением положенного церемониала [37, с. 83, 303, примеч. 78].

короля Матьяша Корвина к коалиции против Казимира. В 1484 г. в Буде во время пребывания там московского посла Федора Курицына завершились переговоры о заключении русско-венгерского союза [39, с. 41—44].

Баязид II, ставший султаном (1481—1512) после смерти Мехмеда II, в борьбе с претендентом на престол братом Джемом, бежавшим в Европу, был заинтересован в установлении мирных отношений с Венгрией, поскольку ее поддержки добивался Джем. Война с Фридрихом III побудила Корвина согласиться на мир, предложенный Баязидом. В 1483 г. был заключен осmano-венгерский договор на пять лет [44, р. 39; 30, р. 64—65].

После этого Баязид приступил к осуществлению экспансионистских планов своего предшественника. Летом 1484 г. во главе большого войска он перешел Дунай<sup>4</sup>. К нему присоединились отряды валашского господара Влада Кэлугэра и татары. 6 июля султан начал осаду Килии. После восьмидневного сопротивления крепость сдалась. 5 августа пал и Белгород. Посланное венгерским королем на помощь Штефану войско находилось в пути, когда было получено известие о падении крепостей [11, р. 10; 44, р. 40]. Матьяш Корвин заявил султану протест против нарушения условий договора 1483 г. Баязид ответил венгерскому королю, что крепости не будут использованы для нападения на молдавские земли. В возобновленном османско-венгерском договоре 1485 г. это условие было оговорено [15; 30, р. 64].

Потеря Килии и Белгорода явилась сильнейшим ударом для Молдавского княжества. Стала постоянной османская военная угроза. Утрата этих центров черноморской торговли сказывалась на экономике страны. Поэтому Штефан предпринял попытки отвоевать крепости. Когда осенью 1485 г. османские войска вместе с претендентом на сучавский престол Петром Хронотом вторглись на молдавскую территорию, Штефан, преследуя их, подошел к Килии и около Кэтлебуга 16 ноября нанес им поражение, но крепости взять не смог. В следующем 1486 г. султан снова направил против княжества отряды во главе с Али-беем и Петром Хронотом. Но молдавский господарь встретил османские войска на р. Сирет и разгромил их [11, р. 11, 46; 8, р. 78, 100, 132, 327].

Несмотря на отдельные временные успехи в борьбе с османами, Штефан понимал, что собственными силами он не сможет вернуть Килию и Белгород. Когда возросла османская военная угроза, а Корвин возобновил в 1485 г. мир с Баязидом, молдавский господарь предпочел подтвердить на традиционных условиях вассальную присягу польскому королю. Казимир обещал защищать Молдавское княжество в его прежних границах (т. е. вместе с Килией и Белгородом) [10, с. 113; 6, р. 370—378].

Но политическая ситуация в регионе складывалась не в пользу молдавского господара. Польская дипломатия, исходя из своих стратегических планов, при посредничестве Венеции начала в 1486 г. мирные переговоры с Портой [45, с. 1—9]. Тогда Штефан предпринял попытку получить помощь со стороны Русского государства. Еще в 1484 г. возвращавшийся от Матьяша Корвина через Молдавское княжество Федор Курицын должен был сопровождать в Москву посла Штефана [39, с. 41], которому поручалось доставить Ивану III грамоту господара с просьбой о помощи. Но в Белгороде (по пути из Сучавы в Перекоп) они были задержаны. Только при содействии крымского хана Менгли-Гирея им удалось в марте 1486 г. освободиться от османского плена [37, с. 293, примеч. 20]. Грамота Штефана была доставлена в Москву только в 1486 г. Молдавский господарь писал в ней: «А в сей стороне один я сам остал, и то от двою сторон поганство тяжкое, а от трех сторон ркучи христиане, але мне сужь пуци поганства. Ино уже не могу им больше терпети,— только бы бог научил вашу милость щобы есте обернулся к нам лицом и приятельством к нам пригадали, а яз бы того болши к вашей милости имел приятельство» [37, с. 62].

<sup>4</sup> На основе ряда данных румынский историк И. Урсу считал, что армия султана Баязида во время похода на Килию и Белгород летом 1484 г. насчитывала более 100 тыс. человек [16, р. 179, 180].

В 1486 г. через посла Туркула Штефан известил Ивана III о прине- сении присяги польскому королю и просил ходатайства перед Казими- ром об оказании военной помощи князю в борьбе против султана. Иван III направил к польскому королю посла Федора Мансурова, ко- торый от имени великого князя должен был заявить Казимиру: «Ино которым христианским господарем будучи близко, а лъзи то дело делаи, ино то есть должно всякому господарю христианскому того дела обере- гати и за христианство стояти» [37, с. 63]. В своем ответе Казимир заве- рил Ивана III, что готов помогать Штефану в защите «от всякого его неприятеля, как-то подданного и слугу нашего» [10, с. 116]. Но в 1489 г. польский король заключил с Портой мирный договор [33, с. 498]. Такой поворот заставил Штефана пойти на мир с султаном<sup>5</sup>. К этому его вы- нуждали и обострившиеся отношения с боярством внутри страны. Про- османски настроенное крупное боярство отказывалось поддерживать политику господаря на признание польского сюзеренитета, нацеленную на продолжение борьбы с Османской империей. По свидетельству турец- кого хрониста во время нападения османских отрядов на Молдавское княжество в 1485 г. многие бояре переходили на сторону султана [8, р. 101]. В создавшихся условиях Штефан в 1489 г. вновь признал венгер- ский сюзеренитет [29, р. 104—105].

Важное значение в дипломатической деятельности молдавского гос- подаря в этот период приобрела линия на укрепление политических свя- зей с Россией. Еще в 1486 г. в Сучаву был отправлен Прокофий Зиновьев «навестити» Штефана [37, с. 63]. По просьбе Ивана III Казимир разрешил в 1488 г. проезд в Молдавское княжество через польско-литовские земли русскому послу Василию Карамышеву [39, т. 35, с. 18]. Направленный в 1490 г. к Штефану Иван Лихорев вернулся в следующем году с послом господаря Стецко [40, т. VIII, с. 219, 221]. 24 февраля 1491 г. Иван III просил польского короля пропустить в Сучаву Стецко и Шандра в со- провождении русского посла [39, т. 35, с. 52]. По всей вероятности, это был Скурат Зиновьевич. Русская летопись сообщает, что в феврале 1492 г. Скурат Зиновьевич возвратился в Москву вместе с молдавским послом Мушатом, который 6 апреля отбыл обратно к господарю [37, с. 294, 295, примеч. 32].

В результате этого обмена послами при посредничестве Русского государства был заключен договор между Молдавским княжеством и Крымским ханством. На основании имеющихся материалов нельзя ска- зать точно, когда начались переговоры Штефана с Менгли-Гиреем. Пер- вое свидетельство об этих переговорах относится к 10 мая 1492 г., когда крымский хан писал Ивану III: «Штефан воевода к нам посла прислал, другу друг есми, а недругу недруг есми молвил; велики межи нас сердца наши сладны, так ведай» [39, с. 151]. Русский посол в Крыму И. А. Лоб- банов-Колычев 27 октября 1492 г. сообщал великому князю о прибытии к хану молдавского посла Мити Гомзы с предложением Штефана «о люб- ви и о дружбе, и о соседстве, и о одиначестве, друг его быти другом, а недругу его быти недругом». Вместе с Митей Гомзой Менгли-Гирей

<sup>5</sup> О времени заключения Штефаном мира с султаном и о характере договора в исторической литературе существуют разные точки зрения. К. Джуреску считал, что договор был заключен в 1489 г. и предусматривал увеличение дани Порте до 4 тыс. золотых [46]. По мнению Г. Загораца, молдавский господарь признал себя подданным султана в 1497 г. [47]. Н. Белдичану вначале относил договор к периоду между 1487 и 1489 гг. [48], затем — к 1486 г. [49]. А. Дечей датировал договор 1479 г. [50]. Н. Григораши полагал, что Штефан мог установить мирные отношения с султаном в 1486 г. [51]. Использование новых материалов, в особенности турецких, позволило современным румынским историкам внести ряд уточнений в освещение этой проблемы. По мнению В. Кымпины, в 1481 г. Штефан заключил с султаном договор на условиях уплаты дани, который был возобновлен в 1487 г. [52, р. 84—88]. Такой же точки зре- ния придерживался и М. Берза, полагая, что в 1487 г. господарю удалось сохранить сумму дани в 4 тыс. золотых [34]. М. Мехмет высказал мнение о том, что заключение Штефаном договора с султаном Мехмедом II относится к 1479—1481 гг. Условия его, как и возобновленного в 1487 г. договора, не означали подчинения княжества Осман- ской империи, которое произошло позднее [32, р. 173—177]. Шт. Горовой считает на- более вероятной датой договора 1486 г. [53].

направил к молдавскому господарю своего посла Казимира для заключения договора. Об этом крымский хан извещал Ивана III 6 сентября 1492 г. Грамота Менгли-Гирея свидетельствует о заинтересованности русского правительства и его посредничестве в заключении крымско-молдавского союза [37, с. 68, 296, примеч. 39].

Участившийся обмен послами между Русским государством и Молдавским княжеством преследовал и другую цель. Претенденты на венгерскую корону после смерти Матьяша Корвина — чешский король Владислав, польский королевич Ян Ольбрахт и император Максимилиан Габсбург — в своем соперничестве за трон в Буде стремились привлечь каждый на свою сторону молдавского господаря. Предпринятая летом 1490 г. попытка Яна Ольбрахта склонить Штефана к поддержке своей кандидатуры не имела успеха [45, с. 12—14]. Военная экспедиция господаря в Покутье в 1490 г. должна была помешать Ольбрахту захватить венгерский престол.

Штефан являлся сторонником Максимилиана [54]. По-видимому, здесь сыграли определенную роль дружественные отношения Штефана с Иваном III, также поддерживавшим Максимилиана. В 1490 г. в Москве находился имперский посол фон Турн с целью склонить Русское государство на сторону императора. В данном случае интересы империи и Русского государства совпадали. Имея в виду реальную опасность усиления Ягеллонов в результате получения венгерского трона, Иван III поддерживал кандидатуру Максимилиана [38, с. 196; 43, с. 73, 74].

В результате договора двух братьев Ягеллонов (Кошицкий мир 20 февраля 1491 г.) венгерская корона досталась Владиславу, который оставался и королем Чехии. Уже в ноябре 1491 г. новый венгерский король заключил в Пресбурге мир с Габсбургами [19, с. 192—193]. После смерти польского короля Казимира (1492) его сын Александр стал великим князем Литовским, а польская корона досталась Яну Ольбрахту. Новый король планировал вернуть Молдавское княжество в свою вассальную зависимость, устранив Штефана и посадив на господарский престол младшего Ягеллона Сигизмунда. Против намерений Ольбрахта выступил венгерский король Владислав [9, р. 540, 541].

Уведомленный о замыслах польского короля трансильванским воеводой Бартоломео Драгфи [29, р. 112], Штефан активизировал дипломатическую деятельность с целью предотвращения угрозы княжеству. Он установил связи с венгерским королем Владиславом, который подтвердил права господаря на трансильванские владения Чичейул и Четата де Балта. Штефан придавал также большое значение политическим связям с Русским государством, с которым его сближали общие интересы в противодействии планам Ягеллонов.

Заключив в 1494 г. договор с Литовским княжеством, Иван III проявил заинтересованность в установлении молдавско-литовских союзнических отношений. Предложение русского царя было выгодно Штефану, так как союз с великим князем литовским мог внести разногласия в отношения Яна Ольбрахта с братом Александром и, тем самым, ослабить династическую коалицию Ягеллонов. К тому же облегчался обмен послами с Иваном III через литовские земли. Получив положительный ответ Александра на просьбу о пропуске русского посла в Сучаву, Иван III направил в 1495 г. к Штефану М. В. Кутузона [37, с. 71]. Русский посол должен был не только известить молдавского господаря об установлении мирных отношений Ивана III с великим князем литовским. Ему поручалось склонить Штефана к союзу с Литвой. Об этом мы узнаем из грамоты молдавского господаря к Александру: «И також и свать нашъ великий князь московский Иван Васильевичъ, тесьь вашей милости, прислал до нас своих послов о том, абыхмо сязъ вашю милостью потокомъели и миръ вечный взяли» [6, р. 397]. Из записи от 19 мая 1496 г. речей русского посла в Литве М. С. Еропкина видно, что с вестью об установлении дружественных отношений Ивана III с великим князем литовским был послан к Штефану также Т. П. Замыцкий [37, с. 74]. В 1496 г. в Сучаву направился И. И. Ошерин, который возвратился с молдавским послом Иваном

Питарем [37, с. 74, 298, 299, примеч. 58, 59]. Через своих и русских послов Штефан извещал Ивана III о готовности поддерживать мирные отношения с великим князем литовским.

Одновременно великий русский князь оказывал влияние и на Александра. В наказе от 27 августа 1495 г. русским послам в Литву Е. В. Кутузову и А. Ф. Майке предписывалось сообщить великому князю литовскому от имени Ивана III: «И мы к Стефану воеводе пошлем, а к нему накажем, чтобы с тобою, с нашим братом и зятем, был так же, как и с нами, другу бы твоему друг был, а недругу недруг; а ты бы, брат наш, того хотел жо, чтобы Стефан воевода был тебе таков же, как и нам: другу бы нашему друг был, а недругу недруг» [37, с. 73].

В 1495 г. Александр направил к Стефану посольство с предложением союза. Молдавский господарь в следующем году представил великому князю литовскому согласованный с его послами проект договора. Но присланный Александром в Сучаву текст договора отличался от первоначального проекта. Штефан принес присягу на первоначальном тексте и просил Александра сделать то же самое. В конечном итоге договор был заключен, и великий князь литовский через своих послов сообщил Штефану об утверждении мира между Литвой и Молдавским княжеством [6, р. 386, 387, 397, 400—403, 407].

Антигяеллонская направленность акций Штефана ускорила претворение в жизнь замыслов польского короля. В 1497 г. Ян Ольбрахт предпринял поход на Молдавское княжество. Приготовления к нему велись под предлогом подготовки к военным действиям по отвоеванию у османов крепостей Килии и Белгорода. Ольбрахт прислал к молдавскому господарю послов с предложением принять участие в этих действиях. Господарь выразил готовность оказать польскому королю военную поддержку, пропустить его войска через территорию княжества, помочь продовольствием и фуражом [55, S. 76].

26 июня 1497 г. Ян Ольбрахт в сопровождении брата Сигизмунда выступил с армией в направлении к молдавским границам. Уведомленный о планах польского короля, Штефан выслал ему навстречу посольство во главе с вистиерником Исаком. Любезно приняв послов, Ольбрахт просил их сообщить господарю, что польское войско движется к Килии и Белгороду с целью отвоевания их у османов. Однако направление движения польской армии не соответствовало этому заявлению. Штефан снова послал к Ольбрахту Исака и логофета Тэута, чтобы уточнить намерения польского короля. На этот раз молдавские послы были схвачены и отправлены во Львов [11, р. 11].

В условиях польской угрозы важную роль сыграли предпринятые Штефаном дипломатические меры — заключение при посредничестве Русского государства договора в 1492 г. с крымским ханом и в 1496 г. с великим князем литовским Александром. Молдавский господарь, по свидетельству турецкой хроники, обратился за поддержкой к султану [8, р. 138]. Турецкий анонимный летописец XVI в. сообщает, что Штефан направил посла к силистрийскому паше с предупреждением о движении польской армии на Молдавское княжество [56, с. 48, 49]. Штефан просил также о помощи венгерского короля, валашского господаря и крымского хана [9, р. 543, 544].

Собрав войско в общей сложности около 60 тыс. человек, Штефан сосредоточил его в Романе, оставив в Сучаве сильный гарнизон. 24 сентября Ольбрахт подошел со своей армией к столице княжества и через два дня начал ее осаду [8, р. 138; 11, р. 11]. В польской армии сразу же обнаружилась нехватка продовольствия. Молдавские отряды препятствовали подвозу и доставке съестных припасов осаждающим Сучаву польским войскам. По данным молдавских хроник, на помощь Штефану прибыли 2 тыс. османов и 12-тысячное войско во главе с Бартоломео Драгфи из Венгрии. Поддержал Штефана также валашский господарь Раду Великий [11, р. 11, 12; 18, р. 110, 111]. Турецкий анонимный летописец XVI в. отмечает, что силистрийский паша направил Штефану отряд в 800 человек [56, с. 43].

В момент, когда польская армия испытывала затруднения при осаде Сучавы, а молдавский господарь концентрировал военные силы, вступил в силу фактор польско-венгерского соперничества из-за Молдавского княжества.

К Яну Ольбрахту прибыло посольство его брата — венгерского короля Владислава с требованием прекратить военные действия против Штефана. Венгерский король предлагал свое посредничество в урегулировании конфликта с молдавским господарем. Одновременно через Бартоломео Драгфи Владислав просил Штефана пойти на примирение с польским королем [9, р. 549—551].

В условиях затянувшейся осады Сучавы, когда возникла угроза вступления в военные действия против польской армии присланных венгерским королем войск, Ян Ольбрахт согласился на перемирие и 16 октября снял осаду молдавской столицы. По условиям перемирия польская армия должна была отступить из княжества по той же дороге, по которой пришла. Однако Ольбрахт выбрал другую дорогу — к Черновцам через Сирет и большой Козминский лес. Нарушение польским королем условий относительно маршрута отступления дало Штефану повод нанести ему решающий удар. Молдавские войска двинулись вслед за польской армией и настигли ее около Козминского леса. 26 октября они атаковали вступившую в лес армию Ольбрахта. Попавшие в ловушку польские войска были почти полностью разбиты. Ян Ольбрахт с остатками армии, атакуемый молдавскими отрядами, с трудом вышел к Черновцам. Польский кавалерийский корпус, подошедший к Снятину для помощи Ольбрахту, был разгромлен 29 октября в местечке Ленцешти частью молдавского войска под командованием ворника Болдура. У Черновцов молдавские войска нанесли польскому королю последний удар. Ольбрахт едва спасся и с небольшим отрядом отступил в Польшу [11, р. 12].

Планы Яна Ольбрахта в отношении Молдавского княжества, таким образом, полностью провалились. Немаловажную роль в этом сыграла дипломатическая акция Русского государства, направленная на то, чтобы отвлечь великого князя литовского Александра от сотрудничества с польским королем и, тем самым, оказать Штефану помощь. Еще осенью 1496 г. Ольбрахт договорился с Александром о взаимодействии в предстоящих военных операциях по овладению Килией и Белгородом [55, S. 122]. Было очевидно, что великий князь литовский, несмотря на заключенный в 1496 г. договор со Штефаном, не отказывался от отправки своих войск против Молдавского княжества. Иван III в конце августа 1497 г. послал в Литву П. Г. Лобана-Заболоцкого и дьяка И. Волка-Курицына с настоятельной просьбой к Александру, «чтобы еси памятовал на наше с тобою докончание, а на Стефана бы еси воеводу не ходил». С ответным посольством великий князь литовский заверил Ивана III, что «на Стефана воеводу не пошел», а между тем отправил свои войска на помощь Ольбрахту. «И князь великий Александр, — сообщает Львовская летопись, — сътвори лесть: сам возвратися, а князей русских с силою своею послал брату своему Ольбрахту на помощь» [37, с. 78].

В 1498 г. русским послам в Литву В. Ромодановскому и В. Кулешину снова предписывалось предупредить великого князя литовского: «А нынча, брате, слух нам таков, что наряжаешься, а хочешь ити ратью с своим братом, с королем польским, на Стефана воеводу волошского. И ты бы, брате, памятовал на наше с тобою докончание, чтобы еси на Стефана воеводу на волошского не ходил, ни людей бы еси своих на помочь брату своему не посылал, а за то бы еси, брате, с нами нежитья не хотел» [37, с. 78]. В ответ Александр прислал в июле того же года посольство в Москву с жалобой на «шкоды», чинимые ему Менгли-Гиреем и Штефаном. Иван III обратился к крымскому хану с просьбой оказать влияние на великого князя литовского. Результатом этого обращения Русского государства было посольство хана в Литву [39, с. 242—243].

В мае, затем в ноябре 1498 г. османские войска во главе с силистрийским пашой Макоч-оглу совершили походы на польскую территорию. В июле Польшу атаковали татары. Источники дают основание полагать,



что эти военные акции были подготовлены крымским ханом по просьбе молдавского господаря. Представляет интерес свидетельство турецкой анонимной хроники XVI в. о просьбе Штефана к султану пагнать польского короля и нажечь «па него с тылу» и о последовавших двух османских нападениях на Польшу в 1498 г. [56, с. 46]. Эти данные подтверждаются и актовыми материалами. Известно, что в 1497—1498 г. Штефан имел непосредственную связь с Менгли-Гиреем через своих и русских послов, проезжавших через Крым. В 1498 г. находившемуся в Крыму проездом в Сучаву русскому послу Ф. Алексею (Аксентьеву) хан поручил сообщить молдавскому господарю, что по его просьбе он срочно направил своего человека к султану. По-видимому, просьба господаря была связана с организацией действий османов и татар против Польши в 1498 г. [56, с. 46—47; 57].

Молдавский господарь умело использовал соперничество Польши, Венгрии и Османской империи за обладание торговыми и стратегическими позициями на Дунае и Черном море. Так, Штефан знал, что, рассчитывая на укрепление своего влияния в княжестве, Польша как и Венгрия, опасалась подчинения султаном молдавского господаря. Именно этот момент подчеркивался в переговорах между Владиславом и Яном Ольбрахтом по заключению мира со Штефаном [9, р. 546, 547]. Османотатарские нападения 1498 г. на Польшу, к которым был причастен господарь, должны были утвердить польского короля, как и венгерского, в этих опасениях. Штефан использовал свои отношения с султаном, чтобы затягивать мирные переговоры с польским королем и добиться отказа Польши от претензий на Молдавское княжество. Когда же в июле 1498 г. Венгрия и Польша заключили антиосманский договор, Штефан при посредничестве Владислава изменил тактику. Он предупредил польского короля о готовящемся осенью 1498 г. нападении османов. Турецкая анонимная хроника XVI в. рассказывает о том, какое поражение нанес Штефан османским отрядам, возвращавшимся после нападения на Польшу через территорию Молдавского княжества [56, с. 49, 50]. Этими действиями молдавский господарь как бы демонстрировал свое намерение присоединиться к польско-венгерскому союзу.

В 1499 г. Штефан отказался от уплаты дани султану и при посредничестве Венгрии заключил мирный договор с Яном Ольбрахтом [6, р. 417—441], присоединившись таким образом к антиосманским планам Венгрии и Польши. Однако Штефан сохранял мирные отношения с султаном. Занятость Османской империи в это время военными действиями на Ближнем Востоке несколько ослабила османскую угрозу для Европы. Обострение противоречий между европейскими державами заставляло их правителей идти в этих условиях на установление мира с султаном. Порта, со своей стороны, учитывая главные тенденции европейской политики, использовала в своих целях любые сложности во взаимоотношениях европейских стран. Развитие этих двух тенденций в политической жизни Европы привело к новой расстановке сил в юго-восточном регионе континента.

Сложившаяся в начале XVI в. международная ситуация способствовала усилению османского влияния в Молдавском княжестве. Это особенно проявилось после смерти Штефана (1504), когда борьба боярских группировок за господарский престол, политика крупного боярства, стремившегося к установлению олигархического режима в стране, использовались Портой в интересах все большего подчинения княжества Османской империи.

Характеризуя в целом внешнеполитическое положение Молдавского княжества во второй половине XV в., следует сказать, что оно было чрезвычайно сложным. С одной стороны, молдавский господарь стремился избежать подчинения княжества османам, регулируя отношения с султаном в соответствии с конкретными условиями международной обстановки в регионе. В то же время, чтобы укрепить внешнеполитическое положение княжества, господарю приходилось лавировать, учитывая соперничество Польши и Венгрии и их конфронтацию с Османской империей.

Молдавское княжество играло заметную роль в международных отношениях Юго-Восточной Европы второй половины XV в., определяющуюся тем значением, которое ему придавали европейские державы в осуществлении своих политических планов в этом регионе. Вместе с тем, деятельность господаря Штефана Великого, направленная на усиление центральной власти в стране, содействовала успеху ряда внешнеполитических акций княжества, сохранению его независимости.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Zinkeisen J.* Geschichte des Osmanischen Reichs. Bd. 2. Gotha, 1854, S. 17.
2. *Papacostea Ş.* Die politischen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Vorherrschaft des Osmanischen Reichs im Swarzmeergebiet (1453—1484).— *Münchener Zeitschrift für Balkankunde.* Bd. 1 (1978), S. 217—245.
3. *Werner E.* Die Geburt einer Grossmacht — die Osmanen (1300—1480). Berlin, 1978.
4. *Iorga N.* Geschichte des Osmanischen Reiches. Bd. 2. Gotha, 1909, S. 52—53.
5. *Ночевец А. Д.* Турция. Краткая история. М., 1965, с. 20—21.
6. *Bogdan I.* Documentele lui Ştefan cel Mare. Vol. 2. Bucureşti, 1913.
7. *Советов П. В.* Исследования по истории феодализма в Молдавии. Т. I. (Очерки истории землевладения в XV—XVIII вв.) Кишинев, 1972.
8. *Cronici turceşti privind ţările române.* Vol. 1. Bucureşti, 1966.
9. *Papacostea Ş.* De la Colomeea la Codrul Cosminului. (Poziţia internaţională a Moldovei la sfârşitul secolului al XV-lea.) — *Romanoslavica*, XVII (1970).
10. *Материалы по истории взаимных отношений России, Польши, Молдавии, Валахии и Турции в XIV—XVI вв.* Собр. В. А. Уляницким. М., 1887.
11. *Cronicele slavo-române din sec. XV—XVI*, publicate de Ion Bogdan. Ed. P. Panaitescu. Bucureşti, 1959.
12. *Documente privitoare la istoria Românilor.* Culese de E. Hurmuzaki. Vol. XV, pt. 1. Bucureşti, 1911.
13. *История Венгрии.* Т. I. М., 1971.
14. *Iorga N.* Geschichte des Rumänischen Volkes. Bd. 1. Gotha, 1905, S. 346—348.
15. *Panaitescu P.* Legăturile moldo-polone în sec. al XV-lea şi problema Chilieii. — *Romanoslavica*, III (1958), p. 111—112.
16. *Ursu I.* Ştefan cel Mare şi turcii. Bucureşti, 1914.
17. *Sabău I.* Relaţiile politice dintre Moldova şi Transilvania în timpul lui Ştefan cel Mare.— In: *Studii cu privire la Ştefan cel Mare.* Bucureşti, 1956.
18. *Ureche G.* Letopiseşul Ţării Moldovei. Ed. de P. Panaitescu. Bucureşti, 1958.
19. *Nehring K.* Matthias Corvinus, Kaiser Friedrich III und das Reich. München, 1975.
20. *Nicolaescu St.* Documente slavo-române cu privire la relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Ardealul în sec. XV şi XVI. Bucureşti, 1905, p. 133.
21. *Vaisman A.* O pagină glorioasă a prieteniei româno-iranene: relaţiile politico-diplomatice de lui Ştefan cel Mare cu şahul turcoman al Persiei.— *Revista română de studii internaţionale*, 1973, № 1, p. 83—87.
22. *Babinger F.* Mehmed der Eroberer und seine Zeit. München, 1953, S. 152, 325—334.
23. *Donado Da Lezze.* Historia turcheasca (1300—1514). Publ. de I. Ursu. Bucureşti, 1909.
24. *Bogdan I.* Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV şi XVI. Vol. 1. Bucureşti, 1905.
25. *Gonfa A.* Tactica şi strategia lui Ştefan cel Mare în bătălia de lângă Vaslui.— *Revista istorică* (далее — RI), 1975, № 1.
26. *Iorga N.* Studii istorice asupra Chilieii şi Cetăţii Able. Bucureşti, 1899.
27. *Năsturel R.* Din legăturile dintre Moldova şi Crimeea în secolul al XV-lea.— In: *Omăgiu lui P. Constantinescu-Iaşi.* Bucureşti, 1965, p. 261—266.
28. *Bogdan I.* Inscricţiunile de la Cetatea Ablă şi stăpânirea Moldovei asupra ei.— *Analele Academiei Române*, seria II, t. XXX (1908), mem., secţ. ist., p. 24—27.
29. *Părvan V.* Relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Ungaria. Bucureşti, 1905.
30. *Iorga N.* Acte şi fragmente privind istoria românilor. Vol. III. Bucureşti, 1897.
31. *Gemil T.* Două documente tătareşti referitoare la campania din 1476 a sultanului Mehmed al II-lea în Moldova.— *Anuarul institutului de istorie şi arheologie «A. D. Xenopol»*, V (1968), p. 193.
32. *Mehmed M.* Din raporturile Moldovei cu Imperiul otoman în a doua jumătate a veacului al XV-lea.— *Studii. Revistă de istorie* (далее — St), 1960, № 5.
33. *Historia dyplomacji polskiej.* T. I. Warszawa, 1982.
34. *Berza M.* Haraciul Moldovei şi Ţării Româneşti în sec. XV—XVIII.— *Studii şi materiale de istorie medie*, II (1957), p. 9.
35. *Семенова Л. Е.* Отношения Дунайских княжеств с Османской империей в конце XV — начале XVI в.— В кн.: *Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV—XVI вв.* М., 1984.
36. *Базилевич К. В.* Внешняя политика русского централизованного государства. Вторая половина XV в. М., 1952.
37. *Исторические связи народов СССР и Румынии в XV — начале XVIII в.* Документы и материалы в трех томах. Т. I (1408—1632). М., 1965.

38. Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV—XVI вв. М., 1963.
39. Сборник Русского исторического общества. Т. 41. СПб., 1884.
40. Полное собрание русских летописей. Т. XX, ч. 1. СПб., 1910.
41. Panaitescu P. Recenzia K. V. Bazilevici. Politica externă a statului centralizat rus în a doua jumătate a secolului al XV-lea.— St., 1956, № 1.
42. Costăchel V. Relațiile dintre Moldova și Rusia în timpul lui Ștefan cel Mare.— In: Studii cu privire la Ștefan cel Mare. București, 1956, p. 190.
43. Зимин А. А. Россия на рубеже XV—XVI столетий. Очерки социально-политической истории. М., 1982.
44. Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cu Moldavia et Valachia. Vol. I (1468—1540). Ed. A. Veress. Budapest, 1914.
45. Materiały do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486—1516. (Kodeks zagrebski.) Wrocław — Warszawa — Kraków, 1966.
46. Giurescu C. Capitulațiile Moldovei cu Poarta otomană. București, 1908, p. 63—65.
47. Zagoritz Ch. Stabilirea suzeranității turcești în Moldova.— Convorbiri literare, 1914, № 7—8, p. 713—716.
48. Beldiceanu N. Problema tratatelor cu Poarta în lumina cronicei I. Pecevi.— Balkania, V (1942), № 1, p. 394—397.
49. Beldiceanu N. La Moldavie ottomane à la fin du XV-e siècle et au début du XVI-e siècle.— Revue des Etudes Islamiques. Paris, XXXVII (1969), p. 239—264.
50. Decei A. Tratatul de pace-sulhnâme — dintre sultan Mehmed II și Ștefan cel Mare la 1479.— Revista istorică română, XV (1945), № 4, p. 465—494.
51. Grigoraș N. A existat un tratat de pace între Mehmed și Ștefan cel Mare. Idși, 1948.
52. Câmpina B. Cercetări cu privire la baza socială a puterii lui Ștefan cel Mare.— In: Studii cu privire la Ștefan cel Mare. București, 1956.
53. Gorovei Șt. Pacea moldo — otomană din 1486.— RI, 1982, № 7, p. 807—821.
54. Simionescu Șt. Legăturile dintre Ștefan cel Mare și Maximilian I de Habsburg în lumina unui nou izvor.— RI, 1975, № 1, p. 91—98.
55. Papée F. Jan Olbracht. Kraków, 1936.
56. Семенова Л. Е. Из истории молдавско-польско-турецких отношений конца XV в.— В кн.: Россия, Польша и Причерноморье в XV—XVIII вв. М., 1979.
57. Семенова Л. Е. Некоторые аспекты международного положения Молдавского княжества во второй половине XV в.— В кн.: Юго-Восточная Европа в средние века. Кишинев 1972, с. 231.



ПЕТРОВ Е. В.

## СЛАВЯНО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАВАРИИ В VI—X ВЕКАХ

Австрийские земли Нижняя и Верхняя Австрия в раннее средневековье являлись одним из районов соприкосновения славян с германцами. Историческая судьба славян этих областей в нашей исторической литературе до сих пор мало освещалась. В частности, только М. А. Полтавский уделил некоторое внимание этому вопросу, очень кратко обрисовав картину заселения славянами будущих австрийских территорий в эпоху «Великого переселения народов» [1]. Нам представляется эта проблема весьма важной как для выяснения [этнической] предыстории будущих австрийских земель, так и для решения проблемы германо-славянских отношений в целом. Рассматриваемый вопрос является важной вехой в истории взаимоотношений славян с германцами, а также в развитии процесса феодализации у этих народов. Он уже поставлен в исторической литературе. По мнению чехословацкого ученого В. Ванечека, в современном славяноведении и медиевистике назрела необходимость изучения истории славян, которые жили западнее Чехии и Моравии на территориях франкских марок, что позволит объяснить многие неясные факты из истории чехов и словаков [2, с. 163]. Столь же актуальным является выяснение судьбы славянского населения в районе Среднего Дуная.

Чем же характеризуется историческое развитие славян данного региона и каковы были их взаимоотношения с германцами? В эпоху «Великого переселения народов» территория будущей Австрии явилась местом наиболее интенсивных передвижений различных племен, некоторые из них временно здесь оседали — это гунны, германские племена гепидов, готов, герулов, квадов и ругиев. В середине VI в. из района Чехия — Моравия — Словения на запад продвинулось германское племя баваров (*Vaŋuwaren*) и заняло район Верхний Рейн — Верхняя Австрия. Около 530 г. они заселили область между реками Энс, Лех и Альпами [3]. Территорию Паннонии занимало германское племя лангобардов. Нижнюю Австрию заселяли остатки различных германских племен — квадов, герулов, ругиев (центральная и северо-восточная ее часть), готов (в районе Вены) [4], а также остатки романизованного населения. В 568 г. лангобарды покинули Паннонию и ушли в Италию, где образовали на захваченной территории свое королевство.

Сразу после ухода лангобардов территорию Верхней Паннонии стали усиленно осваивать славянские племена, которые пришли сюда с севера, востока и юга. Они сравнительно быстро заселили западную часть Дунайской низменности и долины Восточных Альп и вскоре оказались под властью аваров, которые, воспользовавшись уходом лангобардов, захватили Паннонию, а во второй половине VI в. — Далмацию. Политическая история аваров этого периода характеризуется преимущественно войнами с Византией, грабительскими и опустошительными походами на ее территорию. Сами авары поселились на северном берегу Дуная

в районе р. Тайя (Дые) и воздвигли здесь свое укрепленное поселение — ринг.

Взаимоотношения славян с аварами складывались по-разному. Аварам подчинялись славяне на значительной территории — на Эльбе и Заале, на верхнем Майне, в южных и восточных Альпах, в Паннонии и в северо-западной части Балканского полуострова [5, S. 42]. Значительная часть славян являлась данниками аваров, но чаще они выступали в качестве союзников в их походах [6]. О роли славян в этих совместных военных предприятиях можно судить по составу пленных, захваченных византийской армией во время одного из немногочисленных удачных походов против аваров (601 г.). Среди захваченных пленными только пятая часть была аварами, половина их состояла из славян, а остальные из различных других варваров. Аварский хаган говорил, что славяне как союзники следуют за ним, и он боится упасть в их глазах в случае неудачи [7].

На исходе VI в. усилили свой натиск на север южные славяне с Балканского полуострова, вступив в борьбу с баварами за Альпы. В 592 г. бавары под руководством герцога Тассилона I одержали победу над славянами [8, № 8, S. 78], но в 595 г. славяне призвали на помощь аваров и разгромили баварское войско [5, S. 39]. В 610 г. баварский герцог Гарибальд II вновь потерпел поражение от славян [8, № 10, S. 78]. Эти военные успехи позволили южным славянам — словенцам (карantanцам) занять предгорья Альп и поселиться там.

Одновременно бавары начали осваивать область на восток от р. Энс вдоль Дуная, что облегчалось тем, что здесь жили остатки германских племен, о которых уже говорилось выше. В конце VI в. баварские поселения появились в нижнем течении р. Эрлауф. Одновременно с востока вдоль Дуная продвигались славяне. Исследования, посвященные происхождению названий притоков Дуная, показывают, что название реки Эрлауф — самое восточное название реки немецкого происхождения в Австрии, следующий приток Мельк — измененное славянское наименование Мелица [9]. На основании этих исследований можно предположить, что в районе впадения этих рек в Дунай встретились баварский и славянский колонизационные потоки. Источники не сообщают о военных столкновениях в данном районе, что позволяет предполагать мирные отношения между баварами и славянами. Видимо, это следует объяснять наличием значительных пространств свободной земли, которую можно было беспрепятственно занимать. По мнению большинства австрийских историков баварская колонизация Нижней Австрии носила мирный характер в отличие от колонизации других австрийских земель [10, S. 110], в частности, Зальцбурга и Каринтии, где отношения между баварами и славянами (по крайней мере, в конце VI и в первой половине VIII в.) были враждебны. Это подтверждает тот факт, что в 730—740 гг. между карантанцами и баварами вновь развернулась ожесточенная борьба за обладание долиной р. Энс в Каринтии, окончившаяся на этот раз для славян неудачей [11].

Если в конце VI в. между славянами и аварами существовали преимущественно союзные отношения, то с начала VII в. их характер меняется. Авары начинают терпеть неудачи в борьбе с Византией и нести большие потери. Они стали нападать на славян, что привело к распаду аваро-славянского союза. В ходе столкновений между славянами и аварами сложилась неустойчивая, догосударственная конфедерация племен западных славян — «державы Само», в состав которой, видимо, вошли и славяне, жившие в Верхней Паннонии. Это объединение не только явилось защитой от аварской угрозы, но и нанесло поражение франкскому королю Дагоберту I, который в союзе с алеманнами и лангобардами вторгся в славянские земли. Возможно, что славяне к югу от Дуная входили в «державу Само», составляя «марку Венедов», во главе которой стоял князь Валлук. Когда в 641 г. часть болгар, спасаясь от аваров, бежала в Баварию, они были уничтожены по приказу франкского короля; только 700 человек смогли спастись в «марке Венедов» [5, S. 43].

После распада «державы Само» в середине VII в. авары усилили натиск на славянские земли, теперь они совершали набеги на западные области. Около 700 г. они могли распространить свою власть до р. Траун (Верхняя Австрия) [12, S. 326]. При этом авары беспощадно грабили и притесняли местное население. В «Хронике» Псевдо-Фредегара (середина VII в.) говорится, что «каждый год гунны (авары. — П. Е.) приходили к славянам, чтобы провести у них зиму, они брали тогда их жен и детей и пользовались ими, и к довершению остальных насилий славяне должны были платить гуннам дань» [13]. Принудительно используя славян в качестве военной силы, авары совершали набеги на земли Юго-Восточной Баварии, которая ослабла и не могла оказать кочевникам отпора. Именно к этому периоду относится заселение славянами восточной части Верхней Австрии. Граница славянских поселений проходила на юг от нынешнего города Линца по р. Траун [14, S. 46].

Таким образом, в результате «Великого переселения народов» Нижняя Австрия была заселена преимущественно славянами, в то время как в Верхней Австрии преобладало германское население, что не могло не наложить отпечатка на последующее историческое развитие этих областей.

Об этническом составе славян, населявших будущие австрийские земли, известно мало. Очевидно, что племена, живущие в юго-восточной Моравии, юго-западной Словакии и Нижней Австрии, образовали компактную славянскую общность. К началу IX в. они уже делились на три группы: западнее р. Моравы жили мораване, на территории Словакии — словенцы, так же назывались племена, населявшие Паннонию [15, S. 46].

Таким образом, Нижняя Австрия была заселена западными славянами, в то время как восточные области Верхней Австрии занимали южные славяне [5, S. 44].

Будущие австрийские территории в VI—X вв. были покрыты густыми лесами, обширными болотами, поэтому славяне селились преимущественно в долинах рек. Источники сообщают о славянских поселениях на реках Кремс, Дунай, Ипс, Эрлауф, Энс, Камп, Трайзен, Мельк [16, S. 70, 103, 176; 17, S. 167; 9, S. 2]. Основным видом хозяйственной деятельности было земледелие, о чем говорят археологические материалы [18, S. 115]. Документ 777 г. упоминает о славянах, которые выкорчевывали лес, чтобы освободить землю под пашню [8, № 68, S. 74]. Кроме земледелия, славяне занимались скотоводством, охотой и рыболовством, добывали смолу.

О политическом строе славян в VIII в. мы можем судить по документу 777 г., фиксирующему дарение баварского герцога Тассилона III монастырю Кремсмюнстер в Верхней Австрии [8, № 68, S. 74], а также по диплому, которым Карл Великий подтвердил это дарение в 791 г. [19]. В этих источниках упоминается жупан (joran) и славянская декания. Большинство австрийских ученых считают деканию низшей единицей судебно-административной организации у славян, которая включала в себя десять семей [20, S. 61; 10, S. 107]. Но источники, упоминая о славянах, которых герцог подарил монастырю, говорят о тридцати славянах, а не о трех деканиях, в которые они должны были бы быть объединены. Под деканией, видимо, следует понимать славянскую общину. По данным упомянутых грамот, во главе этой декании стояли два лица — Талиуп и Спарупа. Они названы «actores» баварского герцога, т. е. являлись его служащими. Функции их заключались в управлении хозяйством декании [21, S. 65], а также, очевидно, и в сборе фискальных поступлений в пользу герцога. В административном отношении декания подчинялась жупану, который один со славянской стороны клятвенно подтверждает границы этой декании.

В 725—728 гг. Карл Мартелл подчинил Баварию и включил ее в состав Франкского государства. Но господство франков носило формальный характер, и баварские герцоги фактически проводили самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Особенно ярко это проявилось в период правления последнего баварского герцога из династии Агилольфингов Тассилона III (748—788 гг.), при котором Бавария достигла наи-

высшего расцвета в докаролингский период истории. Тассилон III вступил в союз с враждебным франкам лангобардским королем, скрепив этот союз браком с его дочерью. Путем дарений и уступок он сумел укрепить отношения с церковью внутри герцогства. Тассилон III начал проводить планомерную политику по укреплению власти Баварии в славянских землях. В 745 г. под угрозой аварской опасности славянское княжество Карантаня в восточных Альпах признало свою зависимость от Баварии. Союзником и проводником герцогской политики в славянских землях явилась местная церковь, которая, заручившись поддержкой герцога, стала основывать монастыри вблизи славянских поселений. Именно к этому периоду относится основание старейших монастырей Австрии — Мондзее (748 г.), Шарнитц (763 г.), Иннихен (769), Целль-ан-дер-Зее (796 г.). В 777 г. сам Тассилон основал в Верхней Австрии, в самом центре славянского расселения, монастырь Кремсмиюнстер, который имел своей задачей христианизацию славян. Письменные источники не сообщают о сопротивлении последних процессу христианизации. Археологические данные свидетельствуют, что уже с конца VIII в. в погребениях Верхней Австрии среди инвентаря были баварские и славянские элементы [14, S. 46]. Это позволяет предположить, что проникновение баварской церкви и германского населения на территории, заселенные славянами, не носило вооруженного характера.

Каковы были взаимоотношения между баварами и славянами в Верхней Австрии в конце VIII в.? Из упомянутого документа 777 г. мы можем заключить, что у славян сохранилась своя общественная организация (деканья), но над ней уже стояли служащие баварского герцога. Если со стороны славян дарения всегда подтверждал жупан, то с баварской стороны принимали участие граф, фогт и аббат монастыря.

По баварскому праву все вновь приобретенные земли считались собственностью самого герцога. Это подтверждает тот факт, что герцог передал монастырю землю, которую славяне освоили без его разрешения. При этом славянам было предоставлено право выбора: либо они оставались на своих участках, но переходили на службу монастырю как *servi*, либо они могли оставить землю и уйти беспрепятственно. В данном случае речь идет, несомненно, о свободных славянах.

Таким образом, включенные в состав Баварского герцогства славяне сохранили свою общественную организацию, которая вошла в баварскую государственно-административную систему в неизменном виде, но находилась уже под баварским контролем. Славяне в общей своей массе сохранили личную свободу, но находились под юрисдикцией герцога, который осуществлял ее через своего судью; вся остальная власть в славянской местности находилась в руках баварского графа.

Усиление Баварии и рост ее самостоятельности вызвали опасения Карла Великого, который не мог допустить существования сильного герцогства на восточных границах Франкского государства. В 781 г. Тассилон III был вынужден повторить в Вормсе клятву вассальной верности Карлу Великому, но он продолжал прежнюю политику. Обострение отношений между Франкским государством и Баварским герцогством привели к военному походу франков в Баварию в 787 г. В этих условиях Тассилон III обратился за помощью к давним врагам Баварии — аварам, из-за чего лишился поддержки внутри герцогства. В 788 г. Карл Великий арестовал Тассилона и заключил вместе с семьей в монастырь. С баварской самостоятельностью было покончено, и страна до Энса вошла в состав Франкского государства.

Авары, призванные на помощь баварским герцогом, в том же году совершили набеги на Баварию и Фриуль, но были отбиты франками. В последовавших затем войнах с аварами (791—803 гг.) франки одержали решительную победу. Авары, призвавшие свою зависимость от франков, поселились в Бургенлянде, где они скоро смешались с местным населением.

На завоеванной франками территории была создана система пограничных марок со специальным военно-административным управлением во главе с маркграфами. Главная же их функция состояла в организации

военных сил марки в целях обороны. Им подчинялись войска не только марки, но и соседних графств. На территории Нижней Австрии была создана Восточная марка, которая включала в себя область от р. Энс до района Вайнфиртель, а также область Траунгау в Верхней Австрии.

Уже в 791 г. Карл Великий подтвердил дарение Тассилона III монастырю Кремсмюнстер (777 г.) [19]. При этом франкский король подчеркнул, что положение славян остается неизменным. Славяне сохранили свою общественную организацию (декании), но над ней стоял баварский граф, который подчинялся франкскому маркграфу. Карл Великий воевал с некоторыми славянскими племенами, но источники не сообщают о военной деятельности франков против славян на данной территории. Очевидно, это следует объяснить тем, что здесь славянские племена выступали союзниками франков в борьбе с аварами.

По франкскому праву завоеванные земли считались собственностью короля, что доказывает, в частности, тот факт, что большинство дарений каролингского времени в Восточной марке исходило от короля. Население, жившее на этой территории, подчинялось непосредственно королю и несло повинности в пользу государства (в лице маркграфа). Это в полной мере относится к славянским землям, которые раньше были под властью аваров. В 832 г. король подарил епископству Регенсбург земли, населенные славянами, в 834 г. — славянскую деревню (villa), в 863 г. — императорский фиск Тулльн [22]. В связи с этим представляет интерес документ 827 г., в котором речь идет о земле, находящейся во владении баварского графа и славян [16, S. 103]. Граф нарушил границу, разделявшую их владения, и славяне подали жалобу. По решению маркграфа граница была восстановлена, что засвидетельствовали маркграф, граф и епископ с германской стороны и двадцать один славянин. Мы видим, что славяне имели земли в своей собственности и пользовались защитой от притязаний германских феодалов.

Включенное в состав Франкской империи славянское население сохранило (во всяком случае, в первое время) личную свободу. Об этом говорит тот же документ 827 г. В данном случае славяне выступали свидетелями, а по франкскому праву свидетелем мог быть лишь свободный человек, имеющий собственное земельное владение. Диплом Карла Великого о подтверждении дарения Тассилона III монастырю Кремсмюнстер (791 г.) также особо подчеркивает свободу славян. При передаче конфискованных владений графов Вильгельма и Энгельшалка монастырю (853 г.) упоминаются бавары и славяне, свободные и зависимые [23, № 64, S. 87]. Здесь явно идет речь о свободных славянах. Таким образом, можно заключить, что славяне Восточной марки сохранили личную свободу, но со временем количество свободных славян стало сокращаться.

Людовик Немецкий начал практику земельных дарений в Восточной марке, которую продолжили последующие Каролинги. В результате этого в марке складывалось крупное частное землевладение. Подавляющее большинство дарений приходилось на долю баварских епископств и монастырей. Преобладание крупного церковного землевладения в Восточной марке обусловило и характер германской колонизации в данной области. В отличие от аналогичного процесса в северо-восточной Германии, где основную массу переселенцев составляли свободные немецкие крестьяне, объединенные в общины [10, s. 134], земли славян в Юго-Восточной Баварии, подаренные крупным германским феодалам, в большинстве своем выходцам из Баварии, заселялись зависимыми людьми. Королевская власть способствовала созданию крупного землевладения. Король давал феодалам иммунитетные грамоты, которые освобождали территорию и население от вмешательства со стороны государственных служащих; судебно-административная власть и различные фискальные поступления теперь передавались феодалу.

Иммунитет укреплял право феодальной собственности крупных землевладельцев. На иммунитетной территории вотчинник был единственным господином, ему принадлежала вся земля и все доходы с населения. Если раньше часть прибавочного продукта поступала в пользу государ-



ства и его служащих, то теперь весь прибавочный продукт присваивался землевладельцем-иммунитетом, давая феодалу власть не только над зависимым и крепостным населением, но и над свободными крестьянами, проживавшими в черте иммунитетной территории. В 828 г. император Людовик Благочестивый подарил монастырю Кремс-мюнстер территорию, население которой (зависимые крестьяне и славяне) платили чинш графу. Все, что лежало внутри подаренной области — кроме земель свободных славян — переходило в собственность монастыря [16, S. 101]. При этом свободные славяне были обязаны платить чинш уже не графу, а монастырю [24, S. 306].

При передаче конфискованных владений графов Вильгельма и Энгельшалка Кремс-мюнстеру свободные славяне на этих землях перешли под юрисдикцию монастыря [23, № 64, S. 87]. Система иммунитета приводила к зависимости местного славянского населения от баварских духовных и светских феодалов. Если в конце VIII — начале IX в. подавляющее большинство славян были свободными, то в течение IX в. в источниках все чаще появляются указания на различные формы зависимости славян от феодалов. Еще в 777 г. баварский герцог Тассилон III подарил Кремс-мюнстеру тридцать славян. В 832 г. Людовик Благочестивый вместе с землей дарит и славян, ее населявших, в 834 г. — славянскую деревню [16, S. 103]. Документ 853 г. называет «баваров и славян, свободных и зависимых». В 893 г. Кремс-мюнстер снова приобрел поселения славян [25, № 120, S. 249]. Таким образом, мы можем констатировать, что в результате развития феодальных отношений славянское население Восточной марки в IX в. начало переходить из государственной зависимости в частно-феодалную.

При Каролингах значительное развитие в Восточной марке получила торговля по Дунаю. Интересное свидетельство об этом дает документ, касающийся марки непосредственно перед венгерским вторжением и крушением каролингского господства в Нижней Австрии. Это Раффельштеттенские «Правила о пошлинах», которые были установлены маркграфом Арибо и его судьями в присутствии трех королевских посланцев — епископа Дитмара Зальцбургского, епископа Пассауского и графа Отакара. Этот документ относится к 904—906 гг. [26, № 253, S. 249]. Пунктами при сборе пошлин с торговли с соседним Великоморавским государством названы Росдорф, Линц, Эпаресбург и Маутерн, которые были расположены в Восточной марке. По этим правилам бавары и славяне из Баварии имели право торговать внутри марки беспошлинно, в то время как славяне из соседней Моравии были лишены такой льготы. Если же бавары и славяне из марки выезжали торговать в Моравию, они тоже были обязаны платить пошлину. В данном случае перед нами очевидное равенство бавар и славян, населявших территорию Восточной марки. Последние четко отделяются в документах от славян из соседней Моравии, не пользовавшихся здесь подобными привилегиями. Среди предметов торговли славян названы соль, мед, воск, домашний инвентарь, лошади, волы. Тот факт, что речь идет о славянах из Баварии, которые имели рабов (*mancipii*), также указывает на высокое положение этих славян.

\* \*  
\*

Подводя итоги, следует отметить, что славяно-германские отношения в Верхней и Нижней Австрии несколько различались. В Верхней Австрии преобладало баварское население. У славян этой области еще не сложилось крупного межплеменного объединения, которое смогло бы противостоять германскому проникновению. В то же время у баваров уже была более высокая форма политической организации — герцогство с сильной герцогской властью. Германское проникновение на славянские земли осуществлялось с помощью католической церкви под лозунгом хри-

стианизации. Успехи в христианизации славян позволили Баварии включить славян Верхней Австрии в состав Баварского герцогства во второй половине VIII в. без применения насилия. У них сохранилась социальная организация, которая была включена в баварскую административную систему и подчинялась верховной власти баварского герцога. Славяне имели свои земли (верховным собственником которых был герцог Баварии) и личную свободу.

После ликвидации самостоятельности Баварского герцогства славянское население оставалось под верховной властью Карла Великого, но последующие Каролинги начали дарить славянские земли баварской церкви, передавая при этом и право на сбор государственных налогов, а также высшую юрисдикцию над населением. Славяне попали в зависимость от крупных церковных феодалов.

Несколько по-иному складывались славяно-германские отношения на территории Нижней Австрии. Здесь славяне составляли основную массу населения и были включены в состав Франкского государства позднее — в конце VIII — начале IX в. Это произошло в результате войн с аварами, в которых славяне Нижней Австрии выступали союзниками франков. Видимо, включение славян в состав Франкской империи произошло относительно мирным путем. Славяне оказались под властью Франкского государства в составе Восточной марки, которая приобрела для франков особое значение в связи с возникновением сильного Велико-моравского государства. Как и в Верхней Австрии, славяне сохранили личную свободу и земельные владения. Здесь германское проникновение тоже осуществлялось с помощью местной церкви и сопровождалось созданием церковного землевладения, но в меньших масштабах: количество документов, фиксирующих дарения славянских земель церкви, меньше и почти все они относятся ко второй половине IX в. Очевидно, это связано с распространением христианства среди славян в середине IX в. [18, s. 115]. В 907 г. эти земли захватили венгры, и только после их разгрома в 955 г. территория будущей Нижней Австрии вновь оказалась в сфере германского влияния.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Poltawskij M. A.* Wege der staatlichen und der nationalen Entwicklung Österreichs. — In: Ost — West Begegnung in Österreich. Wien — Graz — Köln, 1976.
2. *Ванечек В.* Франкские пограничные марки и их соседи — чехи и моравы в IX в. — В кн.: Славяне в эпоху феодализма. М., 1978.
3. *Balil H.* Österreichische Rechtsgeschichte. Graz, 1970, Bd. 1, S. 32.
4. *Lechner K.* Die Babenberger: Markgrafen und Herzöge von Österreich, 976—1246. — In: Veröffentlichungen des Instituts für österreichischen Geschichtsforschung. Wien, 1976, Bd. 23, S. 21.
5. *Meyer — Katndl — Pirchegger — Klein.* Geschichte und Kulturleben Österreichs. Wien — Stuttgart, 1974.
6. История Венгрии, Т. 1. М., 1971, с. 76.
7. *Артамонов М. И.* История хазар. Л., 1962, с. 111.
8. *Altbayern von Frühmittelalter bis 1800.* München, 1974, Bd. 1.
9. *Plank K. und Steinhauser W.* Eine vordutsche Grenze zwischen Melk und Erlauf. — In: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich. Neue Folge XXXIX (1971—1973). Wien, 1973, S. 2.
10. *Vancsa M.* Geschichte Nieder — und Oberösterreichs. Wien, 1966, Bd. 1.
11. *Posch F.* Der Landesbau Österreichs in Früh — und Hochmittelalter. — In: Siedlungs — und Bevölkerungsgeschichte Österreichs. Wien, 1974, S. 79.
12. *Lechner K.* Grundzüge einer Siedlungsgeschichte Niederösterreichs vom 7. bis zum 12. Jahrhundert. — In: Archaeologia Austriaca. Wien, 1972, H. 50.
13. *Monumenta Germaniae Historica* (далее — MGH). Scriptorum rerum Merovingicarum. T. II. Hannoverae, 1888, S. 144—145.
14. *Mitscha-Mährheim II.* Archäologische Anmerkungen zur Frage der slawischen Besiedlung Niederösterreichs. — In: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich. Neue Folge XXXIV (1958—1960). Wien, 1960.
15. *Grebert Arved.* Die Slowaken und das Großmährische Reich. — In: Schriftenreihe des Matus Cernak Instituts. Köln — München, 1965, № 1.
16. *Hermann E.* Slawisch-germanische Beziehungen in südostdeutschen Raum von der Spätantike bis zum Ungarnsturm. Ein Quellenbuch mit Erläuterungen. — In: Veröffentlichungen des Collegium Carolinum. Prag, 1965, Bd. 17.

17. *Kaemmel O.* Die Anfänge deutschen Lebens in Österreich bis zum Ausgange der Karolingerzeit. Leipzig, 1879.
18. *Friesinger H.* Studien zur Archäologie der Slawen in Niederösterreich.— In: Mitteilungen der prähistorischen Kommission der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien, 1971—1974, XV/XVI Bände.
19. MGH. Diplomatum Karolinum. T. 1. Hannoverae, 1906. № 169, S. 226.
20. *Holter K.* Die Gründung von Kremsmünster und die Besiedlungsgeschichte des mittleren Oberösterreich.— In: Mitteilungen des oberösterreichischen Landesarchivs. Linz, 1964, Bd. 8, S. 43—80.
21. *Wolfram H.* Die Gründungsurkunde Kremsmünsters.— In: Die Anfänge des Kloster Kremsmünster. Linz, 1978.
22. MGH. Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum. T. 1. Berolini, 1932, fasc. I (далее дипломы указываются по именам королей и порядковому номеру диплома), № 8, S. 9 f; № 6, S. 103.
23. MGH. Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum. Ludowici Germanici diplomata, № 64, S. 87 f.
24. *Lechner K.* Das «pagus Grunzwiti» und seine Besitzverhältnisse.— In: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich. Neue Folge XXXIV (1958—1960). Wien, 1960, S. 301—324.
25. MGH. Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum. Arnolfi diplomata, № 120, S. 175 ff.
26. MGH. Legum. Sectio II. Capitularia regum francorum. T. II. Hannoverae, 1897, XXXVI, № 253, S. 249 f.



БАЗИЛЕВСКИЙ А. В.

## ГРОТЕСК В ПОЭМАХ Ю. ТУВИМА И К. И. ГАЛЧИНСЬКОГО 20—30-Х ГОДОВ

Имена Юлиана Тувима (1893—1953) и Константы Ильдефонса Галчиньского (1905—1953) наряду с именем Владислава Броневского стали символом целой эпохи в польской поэзии XX в. Творчество этих больших поэтов отразило социальный и нравственный опыт времени великих исторических перемен — разочарования и ожидания польского общества в кризисное межвоенное двадцатилетие, трудное начало строительства новой, народной Польши. Тувим и Галчиньский в 20—30-е годы не принадлежали к революционно-пролетарскому крылу польской поэзии, но каждый из них по-своему продолжил национальную гражданскую традицию, на что не раз обращали внимание советские исследователи [1—4].

Тувим и Галчиньский были прежде всего поэтами-лириками, но в жанрово-стилевом отношении их наследие чрезвычайно разнообразно. Творчество Тувима в значительной своей части — поэзия протеста, разоблачения социального зла («Генералам», 1923; «К простому человеку», 1929; «Мещане», 1934 и др.). Галчиньский, напротив, избегал прямых публицистических высказываний, но «польских дней абсурд ужасный» был для него не менее очевиден, чем «пожар над вечной отчизной» для Тувима. «Свиное рыло Кусьмидровича Тувим безошибочно распознавал в любом облике» [2, с. 43], Галчиньский не уступал ему в точности удара. Поставив себя вне мещанско-бюрократического общества, подвергнув санационный режим осмеянию и отрицанию, оба поэта, по существу, заняли место «по левую сторону баррикады».

В межвоенной Польше, «стране, идеально приспособленной для сатиры» [5, с. 263], Галчиньский и Тувим в одни и те же годы сотрудничали в юмористическом журнале «Варшавский пирюльник», выходившем под девизом: «Да здравствует веселье! Как знать — может, через три недели наступит конец света?». Их сатира была опровержением фаталистического скепсиса, реализацией конструктивного начала, скрытого в черном юморе фразы Бомарше. Пародируя бюрократический жаргон и дешевый официальный пафос, левацкую и либеральную демагогию, высмеивая надутость и чванство властей, позерство и снобизм интеллигента, рабские повадки и агрессивные поползновения мещанина, поэты создавали емкие сатирические образы. При своей насыщенности актуальными фактами их лучшие сатирические стихи представляют собой не высмеивание отдельных недостатков и курьезов, а реалистическое обобщение ситуации в целом.

Одним из важнейших средств художественной типизации для Тувима и Галчиньского был гротеск, фантастическая деформация реальности. Предмет данной статьи — гротескная символика в поэмах «Крылатый злодей» и «Бал в Опере» Тувима и «Конец света», «Бал у Соломона» и «Народное гулянье» Галчиньского<sup>1</sup>, где свойственная поэтам эстетиче-

<sup>1</sup> В советском литературоведении эти произведения на сегодняшний день мало освещены (кроме поэмы «Бал в Опере» — единственной из них опубликованной в переводе на русский язык).

ская оценка действительности и ее конфликтов присутствует в наиболее концентрированном выражении.

Первоначально для определения жанра поэмы «Крылатый злодей» (1920—1926, опубл. 1929), как пишет во вступлении к ней Тувим, лучше всего подошли бы бодлеровские слова «феерическая буффонада», но со временем «идеология» и «историсофское мудрствование» настолько потеснили «чистую поэзию», что работу над поэмой пришлось прервать. Автор утверждает, что публикуемый текст — разрозненные фрагменты «неудавшейся поэмы», «dissecta membra», единая нумерация которым дана лишь для порядка. Мистификация потребовалась Тувиму для «оправдания» намеренно фрагментарного построения поэмы, созданного неритмичными пересечениями пространственно-временных пластов, беспорядочным, на первый взгляд, чередованием сна и яви. В смятенном сознании лирического героя вспыхивают образы прошлого, древних легенд, «в серой яичнице» его мозга громоздятся кошмары: то ему мерещится разверстое чрево земли, готовое поглотить все живое, то он видит, как все книги мира рассыпались на буквы, а его заставляют собрать их и расставить на прежние места. Мир для героя — ребус, который немислимо трудно разгадать, увидеть цельным. Эффект «бессвязности» текста необходим Тувиму для передачи лихорадочной, разъятой психики, не совладавшей с хаотически расчлененным миром.

Ритмизованная проза, которой написана поэма, приближается к верлибру, но не переходит в него. Частные образные конструкции графически не выделены. Лишь в моменты эмоциональных и сюжетных кульминаций, когда текст «опоэтизирован» скоплением метафор и параллелизмов, изредка возникает деление на стиховые строки и даже рифма, а дробное членение па абзацы напоминает о традиционном каноне «лирической прозы». Графическая слитность текста внутри главок вопреки динамике содержания подкрепляет ощущение странности, аномальности героя, от лица которого ведется рассказ. Мы видим реальность глазами юродивого, человека не от мира сего.

Поведение героя спонтанно и непредсказуемо. Вот он, человек из толпы, во время пышной церемонии прорвав полицейский кордон, просит прикурить у губернатора. На суде, обвиненный в покушении на убийство, он объясняет свою выходку «законом упругости», тем, что у него в мозгу пружина, которая хочет распрямиться, и просит отпустить его, мотивируя это по-детски наивно — желанием выпить пива и тем, что его ждет возлюбленная. Самооценка героя гиперболизирована: «Я иду один и пою хором», — заявляет он, убежденный, что гвардия с оркестром построена на вокзале непременно в честь его приезда, а все сейсмографические станции регистрируют биение его сердца.

Герой одержим идеей спасения мира. Недаром текст полон реминисценций и прямых цитат из евангелия. Образно-стилевым камертоном поэмы служат два эпитафия: один — из священного писания («Страшно впасть в руки бога живого»), другой, почти дословно влетенный затем в текст, — из «Дядюв» Мицкевича (слова Отшельника о крылатом злодее, некогда отнявшем у него «все сокровища мира», оставив ему лишь «одеяние невинности»).

Перед нами вечный странник, бродяга, которого гонит по свету мистическая тоска по «неразгаданному завтра», по вечно ускользающей истине. Крылатый злодей, гонец божий, наделил его даром пророчества, и с тех пор он одинок среди людей — ведь его бог «с крестом на плечах, а не с дубиной в руке», а мир живет жестоко и нелепо. Для героя нет сомнения, что уже грядет апокалиптический зверь, что близок конец света. Он не может принять абсурд бытия как должное и вызывает к людям, пытаясь остановить безумие, но толпе нет дела до пророка. Отчаявшись, герой понимает, что служение миру ему непосильно, и из пророка становится бунтарем: «Не знаю с кем, не знаю почему — но пришел день битвы! Чего-то с меня уже хватит. Я должен увидеть кровь!» [6, с. 87].

Бог для него теперь — «ненасытный паук», маньяк, глумящийся над людьми. Но и человек, покорившийся творцу, готовый стать «машиной

молитвы», не достоин пощады. Мир населен мертвецами; копошение этих «жирных зверей», марионеток, озабоченных только делами плоти, вызывает у героя отвращение и сарказм: «Шевелитесь, расхаживайте, говорите, слушайте, нюхайте. Разгоряченного — в холодную реку! Окоченевшему — теплую женщину! Голодному — жаркое, хлеб и соус, побольше острого соуса!» [6, с. 90].

Герой проклинает хаос истребления; правление «трехсот Иванов Грозных» с их «гусарами смерти», мятежи «черных толп» для него — предвестие грядущей катастрофы. Но изображенное в финале поэмы общество будущего — это уже сама катастрофа. Математически выверенная, железная «диктатура инженеров», где идеологию и нравственность заменил универсальный клич «Arbeits!», обречена на немедленную гибель. Земля покрыта «решеткой штатов», жизнь похожа на заполненный кроссворд — человеческое бытие исчерпало себя: «...Summa! Komplet! Rien ne va plus! Stop!» [6, с. 102].

В роли «живого бога», карающего мир, в поэме выступает «демонический Феликс», таинственное, мрачное существо с глазами навывкате, парикмахер-садист, в тайной власти которого находится возлюбленная героя Кларисса — олицетворение истины, недоступной, вечно сокрытой от человека, заслоненной от него злом. Философия Феликса — в двух словах: «Все — фикция». Под его мутным взглядом на 666-й день своего понтификата мертвым сном засыпает папа римский Иннокентий. Поэма завершается триумфом Феликса-Антихриста. Грядет его царствие.

Социальная подоплека первой «антиутопии» Тувима еще довольно абстрактна, конфликт решен в основном средствами мифологической символики. Однако по мере движения поэтики Тувима к «слову в социально определенной функции» [7, с. 92] его точка зрения на общественные процессы становилась идеологически все более ясной.

В раннем творчестве поэта сказывалось преобладание эмоционального отношения к миру, «чисто моральный подход к общественной проблематике» [3, с. 88], но со второй половины 20-х годов, когда действительность приносила все больше разочарований, на смену первоначальному пацифизму и чувству слиянности с нацией пришло интеллектуальное неприятие реальности, неприязнь к толпе, подавляемой тоталитарным лозунгам. На какое-то время Тувим, утратив интерес к социальным темам и уединившись «в четырех стенах стиха», всецело посвятил себя натурфилософской лирике и языковому эксперименту, поиску мифических «подсловий мироздания», однако постепенно мятежные «слова в крови» обрели все более определенный общественный контекст.

В 1927 г. Маяковский, во время поездки в Польшу познакомившийся с Тувимом, нашел, что тот «здорово прибран к рукам польским официальным вкусом», что ему «надо и некоторой бури и некоторого оживления» для того, чтобы писать «настоящие вещи борьбы» [8, с. 337, 353]. Броневский, высоко в целом оценивая поэзию Тувима 20-х годов, также сдержанно относился к ее общественному пафосу: «Революционность некоторых стихов — случайное настроение» [9]. Тувим 30-х годов — поэт уже социально зрелый, независимый от «официального вкуса». Сгущение реакционных настроений, фашизация предвоенной Польши заставляет его занять однозначно левую общественную позицию, вплотную приблизиться к тому, чтобы писать «вещи борьбы». Он видит, что мир, изживший себя, гибнет: надвигается «серое море» мещанства, угроза всеобщего краха становится с каждым днем реальней.

Поэма-буфф «Бал в Опере» (1935) — гротескно-сатирическое обобщение польской действительности периода санагии, яростный памфлет, где тувимовская социальная критика достигает своего пика (до войны поэму удалось опубликовать только в отрывках, если не считать малотиражного нелегального издания 1935 г.). Атмосфера всеобщей лжи, предательства и упадка, весь, говоря словами Галчиньского, «польских дней абсурд ужасный» отразился в поэме Тувима.

Само ее название указывает на подставной, ложный характер изображаемого мира: театр в театре, действие внутри действия не может быть

подлинно. Эпиграф из апокалипсиса, приравнивая мрачную реальность 30-х годов к картинам вселенской гибели, придает поэме тон зловещего пророчества.

Все в тексте поэмы подчинено единой структурной доминанте — принципу контрапункта. Композиция прерывиста, фрагменты, развивающие действие, перемежаются с внесюжетными вставками и отступлениями, конкретизирующими отдельные образы. Интонационно-ритмический облик поэмы основан на взаимодополняющих контрастах. Метрическую инерцию первой части создают разностоппные хорей. Стремительный поток речи изобилует расчленениями и проглатываниями слов, эмфатическими восклицаниями и повторами. Темп подавляет все, пауз почти нет. Членение на строфы отсутствует, графически выделены только тематические переходы и вариации ритма. Внутри фрагментов преобладает интонация перечисления, фразы синтаксически элементарны, но крайне растянуты. Иногда Тувим отказывается от знаков препинания, что для него весьма необычно. Все это служит интонационной унификации текста и в то же время распатывает его семантику, формально объединяя внутренне не связанное. Перепад ритма в середине поэмы останавливает привычный бег фразы: метром становится тактовый стих. Ритм теперь неустойчив, интонирование богаче. Разноударный тактовик то переходит в свободный стих (как в описании круговорота денег, где нагромождение коротких слов создает дробный ритм безостановочного мельтешения), то сочетается с двусложными стопами (как в сцене встречи ассенизационного обоза и подвод с провизией, где соседство частушечного хорей и тяжелого многоударного тактовика подчеркивает иронию пассажа об «исторической роли отчизны»).

Образность поэмы подчинена двум началам, причудливо, фантастически слитым: искусственности, оцепенению и безудержному, конвульсивному движению. Ритмом и рифмой спаяно разнородное, постановкой в один ряд отождествлены люди, предметы, звери, мифологические существа, чудовища, рожденные воображением автора. Мир предметов оживлен: автомобили рычаг, бьют копытом, деньги и вещи живут бурной жизнью, метонимически замещая своих владельцев. Животные одушевлены и как бы очеловечены, выступая на равных правах с людьми. Рядом с графиней Макабрини и Растаковским — Сатанелла, Кикимора, Птерофикс, кентавры, сирены, бульдоги, крысы, свиньи, кони...

Балом распоряжается «шеф-организатор» — обезьяна во фраке, а в небесах происходит обезьяний шабаш: оседлав «зодиакальную карусель», двенадцать тварей беснуются, диктуя вселенной судорожный ритм («панканкана»). В поэме постоянно уподобление людей животным и прямое отождествление с ними. Персонажи — обезличенные звероподобные существа, действия которых определены инстинктом: они «жрут», «грызут», «рвут», «душат», «давят»... Пиршество участников бала воспринимается как каннибализм: люди заживо поедают животных, поставленных с ними в один ряд, то есть — самих себя. Звериная свирепость людей подчеркнута сверхъестественной живучестью поданного им угощения: зажаренный вол мычит на тарелке, истекающая жиром утка кричит, хрустя на зубах. С той же легкостью и в том же ритме люди уничтожают друг друга:

Wrogom zęby wybijali,  
Wrogom czaszki rozbijali,  
I do krzyża przybijali,  
Na stalowy pał wbijali...

[10, с. 270]

Морду недругам кромсали,  
Из них душу вытрясали,  
На кресте их распинали  
Кол в нутро им загоняли...

[11, с. 370]<sup>2</sup>

Человек в поэме — гибрид марионетки и зверя, занятый двумя делами — потреблением и уничтожением. Причину духовного оскудения людей, их растворения в предметах и слияния с биологической стихией Тувим видит в хищной власти денег, ставших «адьютантами истории», по-

<sup>2</sup> Поэма цитируется в переводе Д. Самойлова.

жизненным «ковшем» всех человеческих дел. Деньги для поэта — воплощение сил зла, inferнального хаоса, вытесняющего истину из души человека. В финале поэмы «червивые деньги» сростаются в Золотого Левиафана — «Князя Карнавала», на котором в сопровождении эскорта сыщиков въезжает «сиятельная Курва-Мать». Толпа под хохот монстра рвет и пожирает его золотую тушу, обрастающую все новыми слоями денег, но внезапно — все проваливается в тартарары. Таков конец света по «откровению святого Юлиана». Мир погублен страстью к наживе и всепроникающей ложью.

Одним из ключевых образов поэмы становится обрывок газетного заголовка — «идеоло». Высокопарное «идеоло» заполняет страницы газет, мелькая среди спародированных Тувимом официальных лозунгов. Бал рекламируется как «страшное идеоло», в стиле «идеоло» играет оркестр, «идеоло» звучит в эйфорическом бреде пресыщенной толпы, наконец смыкается с пошлым глоссолалическим «удибидибиндья» — мотивчиком, который насвистывает один из сыщиков:

IDEOLO, IDEOLO  
Ideolo ideali  
Lari fari lafirindia  
Udibidibindia, udibindia  
[10, s. 271]

Идеоло, идеоло  
Идеоло идеали  
Лари-фари лафириндья  
Удибидибиндья, удибиндья!  
[11, с. 371]

Единство идеологии и охраны, скрепленное властью денег, подчеркнуто образованным от реального корня символизирующим продажность словечком «лафириндья» (lafirynda — потаскуха). «Идеоло» вливается в повседневную куплю-продажу — прямо из-под типографского пресса газеты идут на обертку в лавке:

Plynie na czcionki drukarska farba  
DE  
IOLO  
«He rebarbar?»  
Kadna  
Kadra  
Ducha  
Czynu  
«Proszę za dziesięć groszy kminu»  
[10, s. 271—272]

Мажет шрифты типографская краска:  
ИДЕ  
ОЛО,—  
«Почем колбаска?»  
Бодры  
Кадры  
Твердой  
Воли,—  
«Пожалста, на десять грошей соли».  
[11, с. 372]

Ключок слова, обрастая контекстом, превращается в емкий символ. «Идеоло» — слово-оборотень, годящееся для оправдания чего угодно, незаменимое для пропагандистских трюков, универсальная маска для сокрытия правды и придания видимости порядка царящему вокруг хаосу. Снижая лозунги, деформируя язык, Тувим разоблачает пропагандистские мистификации санационных властей, посрамляет бодренькие утопии чиновников.

Мир в поэме гибнет — ему нечем защититься, нечего противопоставить демону лжи, насилия и потребления. На смену любви пришел «сексуальный контрдансик», идею заменил мертвый лозунг. Все, что потенциально могло бы быть противопоставлено круговороту денег и пустословия, в поэме намеренно снижено. Над всем витает дух неосуществленности и потерянности (недаром ассенизационный обоз едет по улицам Гномов и Сорокового апреля). Удел «простого человека» — оступляющая повседневность, существование его так же обморочно и неестественно, как и агония бала:

Skrzypią wozy, przewalają się  
Z boku na bok,  
Ludzie w chatach przewracają się  
Z boku na bok.

А вoзы скрипят, раскачиваются  
С боку на бок,  
В хатах люди поворачиваются  
С боку на бок.



Chrapie w rowie, twarzą w trawę,  
Ktoś pijany,  
Na pastwisku podryguje  
Koń spętany.

[10, s. 263]

Спит в канаве придорожной  
Кто-то пьяный.  
Ржет стреноженная лошадь  
Над поляной.

[11, с. 363—364].

Застывший, омертвелый мир по воле поэта пускается в пляс, ускоряя свою погибель. Безумная вакханалия бала описана Тувимом с пушкинской «жестокой радостью»: это не карнавальная «мистерия очищения», а оргия зла, последний праздник, который дает «Всемогущий Архикратор» перед великим кровопусканием.

Поэма «Бал в Опере» — синтез целого проблемно-образного слоя поэзии Тувима. К ней примыкает ряд стихотворений конца 20-х — начала 30-х годов, насыщенных сходной образностью, несущих тот же эмоциональный заряд протеста и отрицания.

Человек-винтик, человек-марионетка, вовлеченный в общее действие независимо от его собственной воли, — постоянный персонаж межвоенной поэзии Тувима. Образ многолик: это и мертвец, которого под руки ведут через веселящуюся толпу, выдавая за пьяного («Кинематограф», 1920); это и «люди-звери», «переодетые предметы», на которые под взглядом поэта вдруг распадается застольная компания («Внезапный взгляд», 1926), это и «местная идиотка со здешним кретином», механически вершащие любовный ритуал («Страница истории человечества», 1930). Это всевозможные разновидности заводных людей, действующих по инерции, затерянных в повседневной суетлоке:

Wstali, izby. Chodzą, ażeby.  
Oto cele. Oto potrzeby. <...>  
Kroki po liniach. Myśli w głowie.  
Nakręcony, ruchomy człowiek

(«Движение», 1936) [6, s. 222]

Встали, чтобы. Ходят, дабы.  
Вот цели. А вот нужды. <...>  
Шаги по линейке. Мысли в голове.  
Заводной, передвижной человек!<sup>3</sup>

Люди, не помнящие себя, потерявшие человеческий облик, «в бесстыдном хороводе» несутся по кругу («Маскарад», 1928; «Дансинг», 1932). Одурманенные грохотом оркестра, поглощенные хаосом праздника, они упиваются иллюзией собственной значимости и могущества («Гулянье», 1929).

Мир предстает как огромный балаган, над которым витает призрак смерти: привидения занимают места в зрительном зале («Случай на репетиции», 1936), людей развешивают на крючках в гардеробе («Театральный гардероб», 1931). Поругание человеком самого себя зашло так далеко, что даже предметы покидают его, взлетая в небо:

W komżach obrusów białe stoły  
Frunęły w górę jak anioły,  
A na suficie (na niebiosach)  
Krzyczała krzywda wielogłosa.

(«Скандал», 1932) [6, s. 141]

Белые столы в стихарях скатертей  
Вспорхнули, как ангелы.  
А под потолком (в небесах)  
Кричало многоголосое зло.

Когда одна из кукол в балагане вдруг осознает кошмар происходящего и ей — совсем как человеку — становится страшно, кукле тут же вспарывают начиненный опилками живот («Театр», 1920). Функциональный, механический мир немедленно отторгает всякого, кто не вполне соответствует отведенной ему роли. Человек запрограммирован на простейшие действия, низведен до уровня заводной игрушки, чучела, набитого трухой отрывочных впечатлений и мертвых прописей. Мир населен «страшными мещанами», для которых «все существует отдельно» («Мещане», 1932).

В мещанине Тувим почувствовал главную угрозу человеческим ценностям, в разорванности, релятивизме его сознания увидел одну из при-

<sup>3</sup> Здесь и далее подстрочник автора.

чин фашизации общества. «Вабесившийся мелкий буржуа» становится главным потребителем националистической пропаганды, опорой политического мракобесия. Опытной рукой хозяин балагана тянет его за веревочку, переставляет с места на место. «Тупые бесы» выползли из нор, присвоили себе имя «нация» («Опять это шарканье», 1936). Их ставка сделана на нового мессию — обладателя квадратной челюсти и свинцовых кулаков («Апокалипсис», 1932). Манипулируя псевдопатриотическими лозунгами, они вербуют армию верных, безотказных автоматов.

Пропагандистская «система явной подделки слов» разоблачена Тувимом в цикле «Из стихов о государстве» (1936). Цикл состоит из двенадцати стихотворений, написанных регулярным ямбом с безукоризненно точной перекрестной рифмовкой. От этой чеканной схемы практически нет отступлений: строгий ритм поддерживает публицистическую четкость высказывания.

Тувим полемизирует и с ревнителями доброго старого времени и энтузиастами «новой» Польши. Он убежден, что обретение независимости не изменило извечной расстановки сил, что дела в государстве обстоят так же, как испокон веков:

Nie było «gorzej», nie jest «lepiej»,  
Zawsze potrzebny glebie gnój.  
Obok widzących byli ślepi,  
A przy szlachetnych — kilka szuj.

Не было «хуже» и теперь не «лучше»,  
Почве всегда нужен перегной.  
Рядом со зрячими всегда были слепые,  
Рядом с благородными — мерзавцы.

[6, с. 245].

Оказалось, что «будни свободы» имеют мало общего с мистическими откровениями поэтов-романтиков. У власти по-прежнему — торгаш, «неумолимый бухгалтер», не брезгающий любой ложью, чтобы свести концы с концами. От истины осталось лишь «эхо слов», разошедшихся на лицемерные лозунги. За маской «духовности» — купец и жандарм, спекулирующие на национальных святынях. Поэт демонстративно требует от министра внутренних дел принять меры для искоренения шайки «дураков и подонков», засоряющей умы граждан вздорными идеями.

Тувим предвидит скандал, отдавая себе отчет в том, что сомнение в национальных мифах, высказанное публично, для общества равносильно анархизму, а то и «большевизму» — ведь оно распатывает устои, рушит приобретательский идеал, презрения к которому поэт не скрывает. Он уверен, что когда придет эра всеобщего благосостояния и

Nastanie szczęście: radość, sytość  
I Luna-Park — powszechny raj,  
Potęga, nadmiar i obfitość,  
I wszystko hiper — super — naj...

Настанет счастье: радость, сытость  
И Луна-парк — всеобщий рай,  
Могущество, изобилие и достаток,  
Все будет — гипер — супер — сверх...

[2, с. 248]

— станет очевидным убожество целей, которые ставил себе человек.

Всему этому небезобидному балагану в последнем стихотворении цикла противопоставлен поэт, единственный хранитель истины, с его «поэтической теологией». Поэту безразличны «провинциальные слова», из которых функционеры, подтасовывая историю, слагают лживую «Национальную Поэму» («История», 1936). Он «идет по осени наискосок» — мимо псевдопатриотической и псевдообщественной суеты, мимо жалких плодов «золотой польской осени» — фальшивых лозунгов, транспарантов и резолюций. В полемическом азарте Тувим иногда единым духом отрывается от всей несправедливой реальности, не разбирая, кто прав, кто виноват. Красноречиво название одной из его сатир, написанной с вийоновской вольностью и бравадой: «Стихотворение, в котором автор учтиво, но настойчиво умоляет премногие сонмища ближних своих поцеловать его в задницу» (1937).

Тувиму ненавистен выморочный, остановленный, разбитый на клетки мир, где все пытаются перекричать друг друга, ни на шаг не двигаясь

с места. Поэта влечет «пылающая суть событий» («Суть», 1936). С годами доля гротескной сатиры в его творчестве возрастает, и это один из симптомов общей драматизации мироощущения Тувима.

Эволюция отношения поэта к миру ясно видна в последовательном переосмыслении ключевого для его творчества образа «дома», метафорически объединяющего идеальные представления Тувима о счастье, творческом труде, человеческой общности. Сначала «дом» Тувима — высокое просторное здание, свободное от хлама, распахнутое всем ветрам («Веселая песня о доме», 1918). В ранний период творчества Тувима доминанта его поэзии — «Пафос Беспредельности», восторг бытия, радостное, почти экстатическое приятие жизни; общественный идеал близок абстрактному пантеистическому «всеединству». На таком фоне даже возникающий иногда мотив тщетности слова, бессилия искусства в делах мира звучит лишь как дань романтической традиции: поэт — молодой каменщик — вместе со всеми возводит «стоэтажный белый дом» («Песня о Белом доме», 1920), он полон веры, что когда-нибудь построит дом «в сто тысяч этажей», и хотя последнее слово остается за скептиками («Увидим! Как бог даст!»), общая жизнерадостность тона здесь несомненна.

В лирике конца 20—30-х годов облик дома меняется до неузнаваемости. Теперь это замкнутое, безвыходное пространство, в котором блуждают согбенные, задыхающиеся жильцы, дом-пора, каменная труба, выходящая в «крысиный двор» и придавленная сверху «вторым двором» — то ли зеркальным отражением первого, то ли бездной ночного неба («Каменные дома», 1932). Даже если жилище отчистить до блеска и отмыть добела, исчезнувшее ощущение живого, родного дома не возвратится. «Где мой дом?» — снова и снова тревожно думает поэт («Уборка», 1936). Неужели родина — только «Небесная отчизна», «Барвистан» — страна красок, только дом из «четырёх стен стиха»? Что можно противопоставить «ассирийской мистерии» бюрократов («Ассирия», 1936), «цветному апокалипсису», который власть имущие готовят миру? «Филологическое мировоззрение» (так сам Тувим определял свой взгляд) не давало ответа на многие вопросы, парастал внутривенный разлад, отчуждение от реальности. Наряду с едкой сатирой в предвоенной поэзии Тувима все чаще повторяются мотивы опустошенного дома, утраченного рая, несбывшегося предназначения. Символом грядущего возмездия и освобождения становится образ девушки-беглянки Малгожатки, обретающей силу в общении с природой:

Idzie — naga i sprawiedliwa.

Она идет — нагая и праведная.

Pamiętajcie: SPRAWIEDLIWA.

Помните: ПРАВЕДНАЯ.

(«Из стихов о Малгожатке», 1939) [6, s. 284]

Если Тувим уводит «за горы, за леса» одну Малгожатку, то в поэзии Галчиньского исход «добрых людей» из мира принимает массовый характер. В сказочной балладе Галчиньского «Башмаки сапожника Шимона» (1935) волшебные башмаки разоблачают лицемерие «красноречивого агитатора» и уводят народ в обетованный край, «где нет войн и горя». «Широкая дорога без хозяина», по которой всем миром идут люди, для Галчиньского — символ идеального бытия, свободного совместного движения людей к истине. Образ дороги в его поэзии — воплощение заветной мечты; он редко подвергается смысловому сдвигу и соразмерен по значению образу дома у Тувима. Постоянный мотив творчества поэта в 20—30-е годы — фантастическое путешествие, бегство в сказочную страну, где сбываются надежды.

У этой страны много имен: и «счастливая Аравия», и «берега реки Лимпопо», и придуманная поэтом Фарландия, и — Россия. Россия для Галчиньского — сокровенная земля, общий дом, двери которого открыты для всех, кто устал, кому больно жить. Везде, где люди живут как братья, утверждает поэт, —

...wszędzie tam,

...везде там,

choćby to było na końcu świata,  
jest Rosja.

пусть даже на краю света,  
— Россия.

(«Россия», 1934) [12, s. 322].

Чтобы в условиях санационной диктатуры публично выразить симпатию к стране революции, надо было обладать подлинным гражданским мужеством. Тем более значимо это стихотворение в контексте творчества поэта, у которого прямые патетические высказывания чрезвычайно редки.

Один из первых критиков поэзии Галчиньского отмечал, что ее тайна состоит в «перестановке эмоциональных знаков» [13, с. 194]. Это поэзия маски, мистификации, буффонады. Стиль Галчиньского насыщен диссонансами: гротеск вилетен в лирику, «простые чудеса» повседневноности и балладно-сказочная стихия слиты. Нагромождая несовместимое, сталкивая разнородное, поэт достигает эффекта импровизационности, спонтанности образа. Поэзия для него не только миссия, но и игра, а поэт — вольный актер, смехом разрушающий иллюзии.

Бурлескная поэзия Галчиньского нередко вводила в заблуждение критику, обвинявшую поэта в безответственности и богомном анархизме. В глазах многих Галчиньский был плебеем, «популярным поэтом», юродствующим для потехи публики. Ни «авангардисты» с их жестким формальным каноном, ни «скамандриты» с их культом «чистоты жанра» не признавали его поэтом «на уровне». На него был навешен ярлык — «веселый декадент à la Russe» [14].

Поэт давал к этому некоторый повод, нарочито бравлируя мнимым «избытком цветов, недостатком мысли» («На смерть мотылька, которого раздавил грузовик», 1929), скептическим отношением якобы ко всем общественным ценностям, выдавая себя за шарлатана, авантюриста и беспечного «мотылька». Но его смех — это «веселость не сытая, не самодовольная, веселость не веледствие того-то и того-то, а несмотря ни на что» [5, с. 262]. Галчиньский стремился не отшутиться от серьезных проблем, а лишь избежать поверхностной категоричности.

20—30-е годы для поэта — время идейного становления, поиска. К окончательному идеологическому выбору поэт пришел гораздо позднее, пройдя «большой и трудный путь от скептико-анархического мирозерцания до социалистического гуманизма» [4, с. 181]. Подчас он шел на рискованные компромиссы. Ложным шагом было, в частности, сотрудничество с еженедельником правого толка «Prosto z mostu» («Без обиняков»). Некоторые опубликованные там во второй половине 30-х годов вещи Галчиньского имели националистический привкус, хотя, как отмечают польские литературоведы, многие из них могут быть контрастно переосмыслены. Так например, поэма «Песнь о бешеной улице» (1937), написанная по всем законам парадоксальной поэтики Галчиньского, из апологии «национал-радикального» движения перерастает в пародию на себя самое. Не намеренное ли это «шарлатанство»?

Ведь уже в ранних стихотворениях Галчиньского отчетливо выражен нравственный идеал, которому поэт будет верен всю жизнь: идеал труда на благо людей, гармонического общения человека с человеком. Именно с этой позиции Галчиньский судит современное ему общество в лучших своих произведениях. Рядясь в личину шута, он в то же время открыто предупреждает:

Obywatele!

Mieście się na baczność!

Jestem niebezpiecznym poetą!

Граждане!

Будьте бдительны!

Я опасный поэт!

(«Победовосные слова», 1924) [1, с. 48].

Галчиньскому ясно: цивилизация переживает глубокий и опасный кризис, она на грани катастрофы. Поэт задается вопросом — что может спасти гибнущий мир?

В поэме «Конец света» (1928), пародируя «эсхатологический» катастрофизм, Галчиньский ищет реальные причины грядущих бед человечества. Поэма имеет подзаголовок: «Откровение святого Ильдефонса, или Сатира на Вселенную». Трехъярусное заглавие, витиеватое посвящение одиннадцати «покойным тетушкам... во цвете лет похищенным смерчем на улицах

Болоньи», латинский эпитаф — все носит пародийный характер и настраивает на комический лад.

Поэма выдержана в бурлескном стиле. Гибнущий мир у Галчиньского смешон, а не страшен. Комизм в созвучиях, в интонационном и лексическом разнообразии — в столкновении несовместимого на всех уровнях текста — ведет к общему юмористическому снижению образности поэмы.

Светопреставление начинается в предсказанный астрономом Паандафилайдой час: у ласточек седеют крылья; коты, мотыльки и деревья пляшут от ужаса; переворачиваются вверх дном и вверх ногами цирки, храмы, колоннады, слоны в зоопарке; лопаются зеркала; статуи святых возносятся в небо («Когда надо — святых нет», — иронически констатирует автор). «Князь Тьмы вбивает в полюс знамя», люди в мистическом ужасе, царит паника, бунтует «пролетариат» — те самые «тетушки», памяти которых посвящена поэма: Орфоэпия, Евразия, Ерозолима, Трамполина, Антропозоотератология и другие. На подавление бунта брошены войска. Больные и увечные, покинутые медиками на произвол судьбы, умирают с криком: «Мы протестуем!»

Стихийно начинается всеобщий марш протеста — шествие людей всех наций, цветов кожи и сословий: идут анархисты, священники, полицейские, самоистязатели, комедианты, куклуксклановцы, масоны, поэты; здесь же — ангелы и черты. В одном строю с ними — одушевленные предметы и овеществленные понятия: пули «дум-дум», «резюлюции и протесты», «революции и манифесты». Все намеренно обесмыслено и скомпрометировано этой неразберихой: перед лицом катастрофы все одинаково смешны и бессильны. Люди, идеи и предметы, как перепуганные дети, «берутся за руки» и хором кричат: «Мы не хотим конца света!» «И тут же им на зло наступил конец света. Sic!» — злорадно заключает Галчиньский.

Авторские ремарки-комментарии, вкрапленные в текст, полны иронии; персонажи сведены к комическим доминантам: анархисты несут «адские машины», глупый ректор едет на свинье, роль на миг возникшего «Астрального Чудища» состоит только в том, что оно пожирает уже никому не нужные лекарства. С мягким юмором изображены и те немногие, кто не поддался панике: поглощенные своими делами, они не замечают, что творится вокруг. Веселые студенты распевают песенки, тешатся с подружками («Здесь пауза — умираю от ревности», — вставляет Галчиньский). Плотник Джованни Лукко не спеша делает свою обычную работу — мастерит гроб для очередного клиента и, достойно завершив день, заваливается спать под деревом («Спи сладко» — нежно напутствует его автор).

Задумчивый «товарищ Мыльце» с метлой и в очках подметает улицу, ворча: «Космос космосом, а порядок должен быть». Над ним порхает голубь, над голубем катится серебряный месяц, и все трое тают на горизонте, провожаемые умиленным взглядом Паандафилайды: «Боже, что за прелестьный пролетарский пейзажик». «Играйте, детки, играйте», — саркастически бросает автор «поэтам», которые впадают в слащавый восторг по поводу «трудового героизма» товарища Мыльце.

Всем текстом поэмы Галчиньский подводит читателя к мысли о том, что причина конца света — не в чьей-то сверхъестественной воле, а в рукотворном абсурде: в поэме гибнет не мир, не космос, а нелепое подобие общества.

Галчиньский издевается над кликушами, возвещающими роковое светопреставление, когда «снизу прыгнет пантера, сверху ясная холера», а властелином мира станет монстр Офиюх («Пророчество», 1934). Угроза «конца света» ясно видна ему: она — внутри затхлого мирка, где проживают «пан Долбняк» и «300 тысяч Мечиславов», где «нация идиотов», играя в политику, беспечно отплясывает танец смерти («Les danses des Polonais», 1930), где нищий играет на флейте под рекламой «лекарства для больных канареек» и средства от клопов («Стихи для пана Долбняка», 1935). Во многих стихотворениях 20—30-х годов Галчиньский «честь имеет представить» этот абсурдный мирок, откуда родом герои его гротескной повести «Порфирион Ослик, или Клуб святотатцев» (1926) и действующие лица знаменитого театра «Зеленый Гусь».

Строгий счет предъявлен варварскому миру в поэме «Бал у Соломона» (1933, опубл. 1937). Это самое крупное и одно из наиболее сложных поэтических произведений Галчиньского. В его подзаголовке значится «набросок», но образно-тематическим богатством поэма скорее похожа на книгу стихов. Ее композиция прихотлива и, по словам самого поэта, подчинена «потоку вдохновения»: сюжетные фрагменты переплетены с автобиографическими и медитативными отступлениями, образные переходы совершаются по принципу ассоциативного скольжения. Доминанта поэмы — изменчивость, многоплановость во всем — в размытом интонационном контуре стиха, в свободном сочетании частей, в ирреальной конструкции образов. «Бал у Соломона», в известном смысле, — итог раннего творчества Галчиньского; к теме данной статьи имеют отношение в основном фабульные части текста.

Образ бала в поэме имеет сложную расшифровку. Прежде всего это «танец мыслей» лирического героя, его диалог с самим собой. Перед лицом немилосердного «Князя Абсурда» герой исповедуется, ищет смысла в своем прошлом. Давно уже «клин мира вошел ему в голову», «огненная саламандра» поэзии овладела его душой, он хочет «помочь миллионам», но в то же время чувствует себя всего лишь «квази-пророком», беспильным перед жизнью, и в какой-то момент готов капитулировать:

...jak pielgrzym, odejdę w otchłanie  
absolutnego zwątpienia,  
gdzie nie rośnie nic  
i nic się nigdy nie zmienia...

...как пилигрим, я уйду в пустыню  
абсолютного сомнения,  
где ничто не растет  
и никогда ничто не меняется...

[12, s. 239]

Меланхолическая песенка о «маленькой глиняной окарине», которая «разрослась» и задушила игравшего на ней музыканта, звучит как признание тщетности трудов артиста. Герою остается наблюдать нравы и завидовать «богине Ли, сотворившей мир одним плевком».

Вторая ипостась бала — пышное празднество, устроенное с размахом, не уступающим тувимовскому «Балу в Опере». В «высоком доме на темной улице» «вурдалаком воеет» музыка, по усыпанному золотом паркету в иступленном танце несутся аристократы, генералы, бизнесмены, «зо оженщины» с блестящими глазами. Мелькают обрывки разговоров о долларах, акциях, любовных интрижках. Усердствует в обжорстве «директор ритуальной бойни». Мажордом, «пьяный потом» и Master of Revels — церемониймейстер сбились с ног, выполняя телефонные распоряжения таинственного Соломона. Тяжелая воля незримого хозяина властвует над балом: он требует, чтобы всего было вдоволь — «и музыки, и страданий, и ароматов, и красок», чтобы стены зала были каждый миг «до изнеможения иными, как запах роз над Содомом». Гостям подают «Мистического Агнца» и «саранчу а ля святой Иоанн». Все в страхе ждут появления Соломона, гадая, в каком обличье он явится, — шута, жандарма, херувима или самого Вельзевула.

Праздник носит принудительный характер. Гостям объявлено, что каждый, кому надоест, может уйти, но только через окно — «прямо в небо». Происходят странные метаморфозы пространства: посредине зала открывается бездна — воронка, всасывающая воздух, внутри дома вырастают невиданные поющие деревья («еще одно доказательство безумия природы»). Один из гостей найден «с отравленным мозгом», но безумная вакханалия продолжается.

На фронтоне дома барельеф — «Настигающая жандармерия»: мир, танцующий на вулкане, оберегаем надежной армией подонков. Однако эта сила, ощутив свою самодостаточность, уже выходит из повиновения — в какой-то момент на бал является отряд полицейских и бесцеремонно сортирует присутствующих: «вульвы направо, ордена налево». Герой бес-

конечно одинок в этом чужом пиру:

...byłem jak intruz, jak szpicel,  
jak kaleka lub jak sumienie.

[12, s. 248]

...я был как незваный гость, как шпион,  
как калека или как совесть.

Он знает, что вокруг него — «только пугала», а бал — «личинка», которой еще суждено вырасти в «Зверя». «Стовековая ложь» рано или поздно заставит небо «снова побагроветь» и стратегам, «мудрым господам из Амстердама» будет чем удобрить свои тюльпаны. Герой напряженно ждет прихода Соломона, уповая на его вещее слово: «Соломон, Соломон, Соломон, что же будет, если погаснет свет?» Соломон в поэме — это и сатана-искуситель, и воплощение вневременной мудрости, ветхозаветный «муж праведный», судия. Но когда, долгожданный, он наконец является на бал — равным счетом ничего не происходит: слишком поздно что-либо менять.

Единственное, что в поэме не тронуто распадом, — возникающий в одном из эпизодов образ трудящегося человека. Сцена окрашена сарказмом: тоскующий среди сытой, праздной толпы герой, увидев в окне группу занятых делом рабочих, сбегает во двор и в приливе братской любви протягивает им свой золотой портсигар. Вместо благодарности в ответ он получает крепкий удар рабочего кулака:

I rozsypałem się jak bałwan  
śniegowy w sto tysięcy płatków.

[12, s. 257]

И я рассыпался, как снежный ком,  
на сто тысяч кусков.

Образ рефлексующего интеллигента, как почти всегда у Галчиньского, издевательски снижен. Однако очевидно, что несмотря на уничижительную трактовку своего «классового двойника», на сомнение в действительности искусства, на скептическую оценку перспектив усовершенствования мира, Галчиньский в поэме «Бал у Соломона» стремится дать эстетически цельный прогноз развития современного ему общества.

В поэме «Пародное гулянье» (1934) лирического героя вновь посещают мысли о бесплодности творческого деяния, о том, что, по чести говоря, удел поэта — быть певчим на поминках, но это не мешает Галчиньскому конкретно анализировать социальную опасность.

Поэма начинается с идиллических картинок воскресного отдыха в парке. К услугам развлекающихся всевозможные увеселения: балаган-аттракционы, лотерея, свежее пиво. Гармошка играет жестокие романсы, к небу взвиваются качели, с аэропланов летят оптимистические листовки об «обобществлении промышленности». Царит атмосфера всеобщей безмятежности и довольства.

Но почему-то «все кажется сном», убаюкивающе скучна череда зрелищ, проходящих перед героем, — не потому ли, что слишком уж лихорадочно пестрое мелькание толпы? За внешней праздничностью скрыто ожидание беды: что-то неведомое, но властное присутствие угадывается за кулисами событий. Герой-наблюдатель, поначалу пытавшийся обойтись без коммюгариев к происходящему, слиться с толпой, все более отделяется от нее. С момента, когда какого-то не в меру разгулявшегося весельчака забирает полиция, события принимают странный, зловещий оборот. Трезвое сознание героя фиксирует все новые гротескные детали и эпизоды.

Вот пародийный интеллигентик, управившись с телячьей отбивной и провозив что-то «о Вольтере и о Бодлере», топится в пруду:

I poszedł na dno w kratkę siny  
psiajegomać. ...  
Został po nim smród jak potomiku  
wierszy

И пошел он на дно, синий в клеточку,  
сукья сын. <...>  
И остался от него смрад, как от книжки  
стихов,

psiajegomać.

от сукина сына.

[12, s. 293]

Тут же некий длинноволосый пийт принимается витийствовать с подмостков о том, что истинный гений не чурается мирских благ, — ему равно милы и ангел и жаркое из барашка. Это по душе обывателю: воодушевленная толпа немедленно требует супа из ангелытины.

Героу чудится, что у целующейся парочки вместо лиц поросычьи рыла, а сценки в балагане что-то слишком уж пошлы. Удрученно глядя на цветущее картофельное поле, он думает о дешевой водке, в которую обратят плоды земли, чтобы власти могли без помех дурачить народ:

O kwiatki, o kwiateczki,  
powiedzcie Polsce mej,  
ze śpi pod wami wódka,  
od której sercu lżej...

[12, s. 296]

О, цветики, цветочки,  
скажите моей Польше,  
что спит под вами водка,  
от которой сердцу легче....

Дозволенное веселье продолжается под неусыпным надзором:

Jak pomnik Wagnera chodził  
pies komisarza.

[12, s. 298]

Как памятник Вагнеру, ходил  
пес комиссара.

По радио звучит нечленораздельная речь министра (Галчиньский передает ее междометиями — как нечто среднее между рвом младенца и боевым кличем: «Уаа! уаа! уаа!»): населению и в праздник исподволь прививают бездумный оптимизм и слепую веру в вождей.

«И вдруг заря заливаает кровью страницы неба» — в лупа-парк въезжают броневики. Пока за окном «играет пулеметик», поэт горько пронизирует: вот, он, возвещенный некогда Вергилием «золотой век»; все, что осталось, — за кувшином вина лить слезы над «пророческой IV эклогой». Галчиньский завершает поэму мрачной формулой: «Конец Гулянья», — и добавляет строку по-английски: «Approaching iron» — «Железо надвигается». Время террора все ближе. «Поэтическая комедь», как сам Галчиньский определил жанр «Народного гулянья» имеет в основе серьезную общественно-политическую коллизию. Недаром, стремясь к скорейшему опубликованию вещи, которую он считал остроактуальной, Галчиньский издал ее за свой счет отдельной книжкой (снабдив фиктивным примечанием: «Того же автора: „Введение в людоедство. Лекции“. Распродано»).

К теме «воскресного отдыха» Галчиньский возвращается в небольшой поэме «Соколиная охота» (1936). Пригородный лесок, где проводят выходной жители предместья, для героя поэмы полон волшебных видений. Герой опытен красками и звуками природы, околдован загадочным словом «моркош», которое шепчут цыганки. Окружающее в его глазах не имеет ничего общего со «страной над берегами Вислы», откуда врывается захватская песенка:

Słodko żyć w tym kraju  
nad Wisły brzegami!

Сладко жить в стране  
над Вислы берегами!

Он пронически дорифмовывает 7 куплет:

Boże, daj nam wszystkim  
chodzić z orderami.

[1, с. 414]

Дай боже всем нам  
ходить с орденами.

А его уже обступает толпа, изумленная редкостным видом счастливого человека, ожидающая от него откровения, но он только кричит им: «Соколиная охота!», — и они разбредаются в поисках неведомого. Что означает этот клич, остается неизвестным, но в последних строках, как бы намекая на ответ, Галчиньский раскрывает тайну магического слова «моркош»: по-цыгански оно значит «любовь».



Любовь как панацея, как убежище от несчастий — постоянный мотив поэзии Галчиньского. Впрочем, как почти всегда у поэта, образ двупланов и развивается по принципу самоопровержения.

В поэме «Бал влюбленных» (1937) «высокое дело» любви превращается в «полубред». Обезьяньи ланки старой девы бегают по фортепьяно, двести пар влюбленных кружатся в призрачном вальсе: их лица измождены, их танец — транс, мучительный и жуткий самообман. Дом, где они живут, — остров иллюзий среди океана тьмы, за его окном «боль и нонсенс». Пугающую реальность обретает образ «звезды-корабля»:

...pewna para urzeczona gwiazdnie      ...какая-то очарованная звездами пара  
wsiadła w okręt i spadła na jezdnię.      села в корабль и упала на мостовую

[1, с. 421]

Убежище любви непрочно, хищный мир берет свое. И все же любовь для Галчиньского — единственное, что, кроме труда, противостоит социальному абсурду.

К концу 30-х годов его оценка действительности становится все более мрачной. Если раньше поэт шутливо убаюкивал согражданин («Спи, дявюлька...», 1935), приглашая их поспать до лучших времен, или призывал от всех невзгод парить ноги («Давайте парить ноги», 1934), то теперь он приглашает соотечественников оплакать «страну вверх ногами» («Приглашение поплакать», 1938). Польша для него теперь — *Insula Timor*, остров страха.

В одной из юморесок конца 20-х годов Галчиньский писал: «Живу скромно, честно, довольствуюсь малым. Господи, не каждому же быть Тувимом» [15, с. 45]. «Дьявольский Тувим, ужасный Юлек» в пору поэтической юности Галчиньского был для него мэтром, которому он, школяр, иногда подражал, но чаще старался выразить свое пренебрежение: ведь Тувим был на десять лет старше, то есть оказывался чуть ли не ровесником поэтов «Молодой Польши», чья абстрактная образность была органически чужда будущему автору «Бала у Соломона».

Лишь позднее стала очевидна близость идейно-эстетических позиций двух поэтов, сходство их творческой эволюции в 20—30-е годы, несмотря на частую полемику и взаимное пародирование. Недаром им случалось выступать соавторами («Политический вертеп», 1931). Не зря именно Тувиму Галчиньский посвятил шуточные стихи о гибели бездарного редактора от руки вдохновенного поэта («Убийство на Пьянца Ирреале», 1931), а одно из своих сочинений преподнес с дарственной надписью: «Тому, кого я люблю, кого ненавижу, кого боюсь, но с кем мне лучше всего» [16, с. 31].

«Каким должен быть поэт? — Таким, чтоб его любили дети и боялись монархи», — под этими словами «веселого мастера» Константы могла бы стоять подпись и его старшего соратника — «князя поэтов» Юлиана. Свой долг художника Галчиньский, как и Тувим, видел в честной постановке социального диагноза, в духовном сопротивлении силам разрушения и хаоса.

Нравственная, гуманистическая основа творчества обоих поэтов неизменна. В равной мере для их поэзии характерна конфликтность сознания лирического героя, напряженность ситуаций, драматизм развития сюжета. Близость проблематики, эстетического идеала, поэтической экспрессии свидетельствуют о типологическом родстве художественных методов Тувима и Галчиньского. Образы их поэзии нередко находятся друг к другу как бы в отношениях взаимной дополнительности: что недосказано Тувимом — зачастую обыграно у Галчиньского, что вскользь брошено Галчиньским, то основательно раскрыто у Тувима.

На фоне этого единства заметно и своеобразие каждого из поэтов, не сводимое, разумеется, к особенностям гротеска в их творчестве, но во многом обусловленное ими. У Тувима реальность часто искажена до ка-

рикуратуры: живое перемешано с мертвым, обезчеловеченным миром всецело правит императив потребления и насилия. Трагедия отчуждения и распада ценностей выражена у него зооморфностью и опредмеченностью человека. В поэзии Галчиньского преобладает «малый», юмористический гротеск, замаскированный абсурд, бурлескное снижение, хотя в символических картинах бала-оргии его гротеск приближается к тувимовскому.

Творческим кредо обоих поэтов было служение людям, защита их достоинства от поругания. Илья Эренбург назвал поэзию Тувима — «слова, которые утоляют жажду» [17]; один из критиков 30-х годов призывал всех, кто стосковался по доброте, «склониться над стихами Галчиньского» [13]. Их поэзия, смехом преодолевая абсурд, воскрешает истину, возвращает людям достоинство и веру в себя. В этом состоит непреходящий смысл гражданского по своей сути искусства Юлиана Тувима и Константы Ильдефонса Галчиньского.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Живов М. С.* Юлиан Тувим: Жизнь и творчество. М., 1963.
2. *Колташева И.* О поэзии Юлиана Тувима.— В кн.: Писатели Народной Польши М., 1976.
3. *Рабиневич Г. Б.* Становление реализма в творчестве Л. Стаффа, Ю. Тувима, А. Словимского и Я. Ивашкевича.— В кн.: Пути реализма в литературах стран народной демократии. М., 1965.
4. *Хорев В.* Константы Ильдефонс Галчиньский.— В кн.: Писатели Народной Польши. М., 1976.
5. *Слуцкий Б.* Поэзия простых чудес.— Иностранная литература, 1968, № 2.
6. *Tuwim J.* Wiersze zebrane. Т. 2. Warszawa, 1975.
7. *Wyka K.* Rzecz Czarnoleska.— In: Wyka K. Rzecz wyobraźni. Warszawa, 1977.
8. *Маяковский В. В.* Полн. собр. соч. в тринадцати томах. Т. 8. М., 1958.
9. *Wiadomości literackie*, 1926, 4 VII.
10. *Tuwim J.* Dzieła. Т. 3. Warszawa, 1958.
11. Тувим Ю. Стихи. М., 1965.
12. *Galczyński K. I.* Dzieła w pięciu tomach. Т. 1. Warszawa, 1957.
13. *Miciński B.* Pochylmy się nad wierszami Galczyńskiego.— In: Polska krytyka literacka 1919—1939: Materiały. Warszawa, 1966.
14. *Zawodziński K. W.* Wesoly dekadent à la Russe.— In: Zawodziński K. W. Wśród poetów. Kraków, 1964.
15. *Galczyński K. I.* Dzieła w pięciu tomach. Т. 4. Warszawa, 1958.
16. *Galczyński K. I., Tuwim J.* Listy. Warszawa, 1969.
17. Литературная газета, 1954, 7 I.



КОЛЕСНИЦКАЯ И. М.

## БОЛГАРСКИЕ И ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ

Сравнительное изучение одного из древнейших видов обрядового и в то же время лирического фольклора восточных и южных славян, в данном случае болгар, позволяет установить не только исконные поэтические формы свадебной поэзии, восходящие к древнейшему периоду, но и пути и общие закономерности позднейшего формирования национального репертуара каждого народа, их сходство — с одной стороны, характер и причины порою значительного своеобразия — с другой. Этот аспект важен для исследования роли народной культуры в генезисе национального самосознания.

Некоторые общие черты русской свадьбы сравнительно с обрядами и песнями южных и западных славян впервые в России были отмечены Н. Ф. Сумцовым [1]. Он указал на близость таких актов обряда как расплетение косы невесты, прощание с ее девичьим головным убором (повязкой, лентой, венком), приводил сербские, чешские, русские песни и причеты и делал вывод об исконной общности их происхождения [1, с. 63].

Позднее (1930-е годы) к этой теме обратились болгарские ученые. Исследования болгарских свадебных песен шли в трех направлениях: 1) устанавливались их связи с ходом обряда (отражение в песне отдельных его актов) [2; 3]; 2) велось сравнительное изучение болгарской песни с песнями других славянских и европейских народов [3]; 3) изучался музыкальный строй болгарских песен, в том числе и свадебных, сравнительно с песней восточных славян [4; 5].

Таким образом, свадебная песня изучалась в этнографическом (в зависимости от хода обряда) и музыковедческом (музыкальный строй песни) плане. Основа последнего направления была заложена советскими учеными К. В. Квиткой [6; 7] и Ф. А. Рубцовым [8]. Продолжением этих исследований явились большие работы Н. Кауфмана [4; 5].

Поэтический строй болгарских и восточнославянских свадебных песен до последнего времени изучался мало, что препятствовало сравнительному изучению текстового материала. Н. Кауфман объяснял недостаточную изученность обширностью территории, занимаемой восточными славянами, богатством материалов по свадебной песне, сосредоточенных в разных сборниках и архивах, а также сложностью их сравнительного изучения ввиду некоторых существенных различий между украинскими, белорусскими и великорусскими свадебными песнями [4, с. 58].

Чтобы определить пути сравнительного изучения свадебной песни, нужно выяснить, в каких аспектах материал должен рассматриваться в настоящее время.

Текстуальные совпадения болгарских свадебных песен с восточнославянскими устанавливались в работах Н. Сумцова [1] и Хр. Вакарелского [3] без дифференциации видов или типов изучаемого материала с обязательным учетом лишь его этнографической, обрядовой принадлеж-

ности и определяемого ею содержания. Свои наблюдения Хр. Вакарелский повторил в предисловии к редактируемому им и М. Арнаудовым тому «Обрядные песни» [9]. Они повторены также в монографии Н. Кауфмана [4, с. 59—60], по которой цитируются примеры. Примеры эти не систематизированы. Между тем, они показывают, что сходство и совпадения болгарских песен с песнями восточных славян по своему характеру не однородны.

I. Сходство текстов песен проявляется в содержании и может быть следствием очень тесной связи словесного текста с актом обряда, который данной песней сопровождался. Такова песня, исполнявшаяся при обрядовом расплетании косы невесты в субботу, накануне венца, у болгар и украинцев:

болг.	укр.
Ра̀но е Не́да ста̀нала	.....
В сѣбота сутринта̀ рано.	Дайте нам кожуха,
.....	Щоб сила молодуха,
Ша̀рен с килѝм посла̀ла!	Щоб сила середь хати,
.....	Косу росплитати.
Седна̀ла да я уплетѝт.	

Здесь сходство основано на общности обрядового акта, приготовления к нему и атрибутов, которые при этом используются. Форма песенного текста разная: повествовательная в болгарской песне, императивная — в украинской.

II. Песни болгарские и русские совпадают по форме (императив), содержание их различно: «О, дайте нам стѣльца, дайте нам кожуха» (при расплетании в украинском фольклоре) — «Дайте сито и ситно решето» (на «засевки» в болгарской традиции).

III. Есть примеры полного совпадения песен по форме (обращение к невесте) и содержанию, определяемому актом обряда (расплетание косы, утрата венка — символов девичества):

болг.	укр.
Не давай се, девойкѝо,	Корѝнись, сухой дубе, корѝнися
Да ти симнат веньѝоко	Молодая Наталия, борошися

IV. В свадебных песнях более сложной композиции могут совпадать символические образы (цветы в саду невесты, с которыми ее разлучают). Она просит их поливать сестру или мать [4, с. 61—62]. Вывод, который делали болгарские исследователи на основании текстуальных совпадений, заключался в том, что совпадения восходят к периоду славянской общности. По мнению Н. Кауфмана, это подтверждается и сопоставлением мелодий свадебных песен [4, с. 61].

Возникает вопрос, существует ли закономерность совпадений, с одной стороны, и расхождений в национальных репертуарах народов, с другой. Представляется, что в настоящее время, когда изучение свадебного фольклора и в Болгарии, и в СССР продвинулось, могут быть найдены ответы на эти вопросы, уточняющие выводы прежних исследователей. Обширный материал свадебной поэзии восточных славян и болгар в записях XIX—XX вв. далеко не однороден. Суммарно рассматривать его нельзя. В течение последнего десятилетия в СССР и в Болгарии делались попытки систематизации бытовой крестьянской песни вообще и свадебной в частности [10—14].

Изучение репертуара свадебных песен трех восточнославянских народов позволило выделить простейшие типы:

1) короткие (в 4—8 строк) песни повествовательного типа, преимущественно с короткой строкой, главным образом, комментирующие обрядовые действия:

Всю ми долину сходили,  
Всю ми калину зломили,  
.....  
Кудрявое деревцо  
Молодой Мариси на гильце



Слезно плакала Катя-душа

.....  
Она плакала по русой косе  
По своей да вольной волюшке

.....  
Уговаривала матушка:  
«Ты не плачь, паша умная,

.....  
Мы тебя не половить хотим» [21, № 190].

Образование этого типа было обусловлено расширением функции песни в свадебном обряде. Наряду с древнейшими обрядовыми функциями: комментировать и направлять действие, песня свадебная стала важной формой выражения лирического начала — грустных размышлений и чувств девушки во время прощания с домом родителей или, напротив, темы счастливого соединения вступающих в брак, создания семьи.

Сюжет песни мог строиться только на монологе или диалоге. Повествовательная часть могла предваряться зачином в виде образа-символа и др.<sup>1</sup>

Наибольшее распространение оба вида (мажорный и минорный) четвертого типа песен получили у русских. В их репертуаре они представлены большим числом разнообразных сюжетов, имеющих общерусское или узко-региональное распространение. Они сопровождали разные акты предвечной части обряда от сватовства или рукобитья до отъезда невесты из дома родителей, пелись (песни мажорного склада) при встрече молодых, за свадебным столом и в другие моменты второй части обряда. Но точное приурочение к определенному акту сюжеты уже утратили. Их исконное место в настоящее время может быть лишь предположительно установлено на основании содержания песни. При публикации в сборниках они располагаются составителями в зависимости от сведений, данных исполнителями. В разных местностях эти сведения различны.

Песни свадебные лирические сложной композиции входят также в состав украинского и болгарского фольклора. Но число сюжетов и вариантов здесь меньше. Сюжеты у каждого народа своеобразны. Обычно ясна их тесная связь с тем актом обряда, который они сопровождают. В украинской традиции (публикации XIX в.) на заручинах в песне-монологе от лица отца или самой невесты выражалась жалоба на то, что невесту рано отдали замуж, она разума не набралась, работать не научилась [15, № 48, 70, 270А]; при расплетании косы в песнях, где повествование чередовалось с диалогом невесты и ее дружечек, невеста жаловалась: не жаль батеньки, «а жаль же мені коси-руси и дівочької краси» [15, № 138А—Б]. В зачине песни — образ зозули, плачущей о тополе в поле, на котором она отдыхала. Публикации болгарских песен показывают, что этот тип первоначально также имел обрядовую принадлежность, непосредственно развился на основании песен, комментировавших обряд. Причем грустные лирические песни, как и украинские, сопровождали наиболее драматичные акты первой части свадьбы: расплетание косы, переодевание невесты перед венцом, прощание с родительским домом, с родителями и подругами. За повествовательной частью песни «Рано е Неда станала» [16, № 613] невеста, ожидая расплетания косы, в монологе оплакивала отцовские «къщи високи», «двори широки». Мать оплакивала расставание с дочерью: «Дъщеро драгано, доде бе при мене... без вода на седях» [16, с. 601, 602, 603]. В песне «Два вятра веят» в зачине — образ-символ — ветры качают леса, шевелят («преврѣщат») ветви и листья, смысл символа раскрывается: невеста прощается с матерью, отцом, братьями, сестрами. Подружки зовут ее за водой, следует горестный монолог-размышление матери: «Пена отиде на друго село, при друга майка» [18, с. 487].

<sup>1</sup> Словом, возможны все типы композиции, присущие крестьянской бытовой лирической протяжной песне.

Белорусские [26, 27, 28] песни четвертого типа ближе к русским. Может быть назван ряд общих сюжетов. В русской и белорусской традиции расплетание косы невесты сопровождалось песней «Трубонька» [21, № 164; 26, т. II, с. 17; 27, Т. II, с. 507, 578]. Отъезд невесты из дома сопровождался песней «Отставала лебедь белая» [21, № 267—270; 27, т. II, с. 39, 40]. Все это доказывает, что четвертый тип лирической свадебной песни, как и песни третьего типа, формировались в национальной традиции каждого народа. Каждая из них содержит своеобразный круг сюжетов, по направлению развития — формирование более сложных типов на основании простейших, сопровождавших обрядовые действия, — было у всех славянских народов единым.

В тесной связи с песнями минорного склада находятся свадебные причитания. Они представляют собой монолог (невесты, ее матери и др.), в значительной мере импровизируемый и потому менее ограниченный рамками сюжета (число стихов в некоторых случаях у русских достигает нескольких десятков). Причитания являются неотъемлемой частью севернорусской свадьбы. В некоторых регионах (Олонецкой, Архангельской, Вологодской губернии) они явно преобладают над песенным фольклором. Довольно распространены они были в большинстве центральных западнорусских губерний и у белорусов. Украинская свадьба причетами не сопровождалась, хотя в наиболее драматичные моменты (расплетание косы, прощание с домом родителей) невеста плакала, «побуждаемая» грустными песнями девушек. Стихи плачей не произносились ни ею, ни окружающими.

В болгарском свадебном фольклоре, по мнению всех его первых исследователей, причитаний не было, хотя при расплетании косы и прощании с родителями невеста плакала, всхлипывая. Как и в украинской свадьбе, ее побуждали к этому подруги пением охарактеризованных выше грустных песен. В северо-восточной Болгарии девушки, покрывая невесту фатою, также нарочно вызывали ее слезы песней: «Плачи, плачи, мари Марольо, ... Няма вече, мари Марольо, моминствато» [18, № 488]. У русских в северных губерниях такой обычай был известен под названием «расклевить» невесту — вызвать ее слезы. Р. Иванова, в отличие от других исследователей болгарского фольклора, считает, что в болгарской свадьбе причитания некогда исполнялись, а в рудиментарной форме в некоторых районах (Родопы, Кюстандилско) сохранились до настоящего времени. Она заключает, что наличие художественного плача в обряде болгарской свадьбы является важным моментом поэтического единства славян [20, с. 15]. В специальной статье автор приводит сообщения этнографов начала XX в. (Н. Попова, П. Апостолова, И. Любенова) о том, что при расставании с домом родителей невеста плакала в буквальном смысле этого слова [29, с. 111—114], иногда произносила слова-сетования, сожаления о родителях: «Тате, тате, мамо, мамо», «кой че ви опере и попоще кой че вода да ви донесе...» Из работы Хр. Константинова приводится поочередное обращение невесты с устойчивым по содержанию плачем-прощанием к отцу, матери, сестре, в тексте заменяется только обращение. Р. Иванова ссылается также на широко известную на территории всей Болгарии песню «Еда се вие, превива», относящуюся по композиции к четвертому типу. Основную часть ее составляет традиционный монолог — прощание с матерью, отцом и другими членами рода. Невеста просит мать поливать оставленные ею цветы утром и вечером росой, в обеденную пору — слезами. Текст монолога строится на основе обычного для причитаний ряда синтаксических повторов-обращений. Образ цветов, оставленных невестой, традиционен для этого сюжета песни, более того, можно указать полное соответствие ему в севернорусских причитаниях, где развивается тот же мотив: мать или отец поливают оставленные невестой сад, цветы. И все же ни одного сюжета причитания как особой развитой системы поэтических образов, в лиро-эпической форме выражающей психологическое состояние невесты в разные моменты предвенечной части обряда, исследовательница не приводит. Приведенные примеры относятся к одному только акту — отъезду невесты из дома

прощанию с родителями, т. е. к тому моменту, к которому было приурочено в Болгарии исполнение лирических грустных песен (в том числе и популярного сюжета «Ела се вие»), сопровождаемое плачем невесты. Вероятно, с этим моментом было связано в некоторых регионах Болгарии и произнесение невестой традиционного по форме короткого словесного монолога, обращенного к родителям. Причитания же как особого лиро-эпического жанра свадебного фольклора, предполагавшего свободную поэтическую импровизацию, особый музыкальный строй, сопровождавшего многие акты предвечерней части обряда, порождавшие особые сюжеты, болгарская традиция, видимо, не знала, как не знала их традиция украинских и южнорусских областей. Можно предположить, что этот вид свадебного фольклора сформировался в национальном репертуаре севернорусских земель. Признаком исконной общности всех славянских народов он считаться не может. Это подтверждается и данными музыковедческих исследований. Ф. А. Рубцов, установив по интонационному строю особенности простейших напевов-формул свадебных песен, особенно широко представленные в украинском фольклоре, известные и другим славянским народам, отмечает в то же время именно в русских свадебных песнях напевы, носящие лирико-драматический характер, в основе которых «лежит, по-видимому, художественно-опосредованная интонация плача» [8, с. 66].

Обычно, когда говорят о причинах столь своеобразных явлений севернорусского фольклора, ссылаются на жесткость патриархального уклада крестьянской жизни в феодальную эпоху. Ф. А. Рубцов также писал об установлении «этических норм домостроя» в тот период (XVI в.), к которому относится, по-видимому, завершение формирования первой части обряда, подчеркивающей бесправие женщины [8, с. 66].

Как представляется, кроме причин социального порядка, и, может быть, в большей мере, чем они, формированию особого вида свадебных причитаний, сопровождавших всю первую половину обряда в среднерусских и севернорусских землях, способствовало тесное общение славянских племен с соседними народами угро-финского происхождения, у которых причитания были исконной (а у некоторых единственной) лирико-эпической формой, сопровождавшей свадебное действо (карелы, мордва, коми, вепсы).

Своеобразие сюжетов свадебных песен каждого из изучаемых народов при общности тем основывается на своеобразии образов. Анализ в сравнительном плане образов и поэтических приемов свадебных песен болгар и восточных славян дает возможность и на этом уровне установить древнейшие черты, указывающие на исконную общность, и те черты, которые явились результатом дальнейшего развития и варьирования в рамках национального репертуара.

Поэтическая система свадебных песен у восточных славян и болгар строится на основе широкого использования приема образного параллелизма во всех его формах: двучленный параллелизм прямой и отрицательный, сравнение, символика. Они являются важнейшим средством эмоционального выражения не только песен четвертого типа, где образ часто возникает в зачине (в основной части смысл его раскрывается), но и в простейших типах.

Простейшие типы песен отражали обряд — в них назывался символический предмет: венец, коса невесты. Но, кроме того, они имели и эмоциональный оттенок, сообщаемый эпитетом: «зеленый венец» (болг.), «гильце невесты з ялины, червоной калины, запашного василька» (укр.) и т. д.

Величальные песни строились на символических образах цветов и спелых плодов: «первый цветочек аленький, а другой цветочек беленький», «ягода с ягодой сокатилася», «два яблочка» (русс.).

Единство круга представлений о браке, об окружающей природе, воспринимаемой по аналогии с человеком, было предпосылкой обращения к аналогичным по типу своему явлениям. Брак рассматривался как насильственный акт, столкновение двух противоположных сторон (кол-



Лизия первой части обряда трагична). У восточных славян это выражено в образах разрушенной стены, поломанных сеней в доме невесты. Распространены также образы охоты. Как приезд охотников представлен приход сватов в некоторых русских и украинских губерниях (невеста — куница). В свадебных песнях жених пускает стрелу: «Прыехали сваты на двор. Пусціл стралу у акно» [22, с. 67], раят птицу. Соколы на море «пускают пух» лебеди, утицы.

Т. А. Бернштам, констатируя необычайное развитие орнитоморфной символики в материальной и духовной культуре восточных славян, особенно в свадебных песнях, указывает, что в образе сокола в них и в хороводных песнях символизируется молодой парень, жених. Подчеркивается его воинственность: сокол щиплет перья, пускает кровь птицы — невесты. Она предполагает, что «образ сокола обладает сложной полисемантической символикой», «в нем присутствуют признаки какого-то древнейшего мифологического пласта, указывающие на связь с высшими и низшими божествами языческой системы». Однако в фольклоре XIX в. сохранилась лишь одна его функция — свадебная: «добыча невесты — главный мотив всех подобных обрядовых сюжетов» [30, с. 30]. Автор отмечает связь этого образа с военными подвигами, походом. В песне «Долго-долго сокол не летит» он появляется в полном боевом вооружении [30, с. 31].

Р. Иванова указывает также, что свадебное шествие в болгарских песнях представлено как военный поход сильного войска и противодействии со стороны невесты [20, с. 12]. В болгарских песнях призывают сватов снаряжаться [16, № 640]. Жениха, отправляющегося за невестой, снаряжают как для военного похода: отец седлает ему коня, брат затягивает узду и т. д. [16, № 616]. Перед дружиной — жених-знаменосец [9, с. 536].

Во многих русских и белорусских песнях приближение свадебного поезда жениха представлено в образе внезапно налетевшей бури: «Не было ветру — вдруг придунуло» [21, № 215]. От буйных ветров веревки зашатались, ворота отворились, поломались сени новые [21, № 233, 255].

В разных регионах Болгарии распространена песня с контрастными символическими образами темной тучи («мъгла»), нависшей над двором родителей невесты, и солнца, обогревающего двор молодоженца.

Древнейшими следует считать общие для болгарского и восточнославянского фольклора образы светил как символы вступающих в брак. Наиболее часты эти образы в болгарской и украинской традициях, сохранившихся, как мы видим, в ряде случаев более архаические черты.

Невесту звали в село жениха, сообщая при этом: «Наше село до две слънца греят» [16, № 564—568]. В северо-восточной Болгарии, когда выводили невесту, пели: «Изгряло ми ясно слънце у Сийкни равни двори» [18, № 509; 19, № 486].

В украинских песнях счастливое соединение жениха и невесты «на посаде» символизировали заря и месяц [15, № 265 А—Б, 266; 31]. С движением солнца сравнивалось продвижение невесты по пути к венцу или от венца [15, № 240, 674], жених на коне: «Чи високо сонце на небі — чи хорош Иванко на коні» [15, № 190].

В русском свадебном фольклоре жених и невеста — заря вечерняя и заря утренняя [21, № 129]. Образ солнца встречается в зачине одного только сюжета песни — прощания невесты с домом отца: «Катилось солнце по залесью, невеста шла по застолю» [23, № 946].

В фольклоре восточных славян для обозначения вступающих в брак использовалась символика птиц, то же и в болгарских свадебных песнях. Общим является образ сокола, сива сокола, «сива сокола» — символ жениха. Соколы (белор. — гуси) летают на море, ловят утку, приносят ее в дом жениха [23, № 126, 229, 281, 460]. В украинской песне — селезень хочет поймать утку [15, № 140]. В русских и белорусских песнях лебедь отлетает от своего стада, пристает к стаду серых гусей [21, № 270; 27, № 39, 40]. В болгарских песнях вступающих в брак символизируют образы сокола и куропатки:

Провикнула со е момкова майка:  
— А си имам свао сина, сив сокола,  
Ти си имаш свао мома еребица,  
А да се сватиме, а да се сродиме! [9, с. 509].

В украинских песнях дружки невесты символически представлены как стая галок, грустная невеста среди них — зозуленька. Галки щебечут, зозуля плачет о расставании с домом [15, № 138 А—Б]. Как видим, некоторые образы совпадают у всех народов, другие различны<sup>2</sup>.

В свадебных песнях украинских, южнорусских и болгарских преобладает растительная символика. Тема насильственного брака в украинских песнях представлена в образе потоптанного «сада-винограда» [15, № 131, 150, 151]. То же и в белорусских: девушка сеяла виноград, забыла закрыть ворота, опасается, что наедет «хлопчык са сватамі, да й па-топча вінаград канямі» [28, с. 37].

В болгарской традиции наиболее распространена песня о тонкой ели, выкопанной с корнем из сада родителей невесты и пересаженной молодым в свой сад — «Изникнала тонка ела» [9, с. 515; 18, № 470]. В украинской песне невеста катит барвиновый венок из сада отца к жениху [15, № 108]. А. В. Курочкин, анализируя растительную символику в календарной обрядности украинцев, отмечает тесную связь ее с брачной символикой. Связь основана на общей для обоих циклов идее плодородия. Наиболее распространенными в украинском фольклоре он считает барвинок — символ брачного торжества, девичьей чести — руту, базилик и другие растения [31, с. 146]. В болгарской песне невесту предупреждают, чтобы она не сажала «босилек», так как сваты придут и растопчут его [17, № 645].

Тема сближения, соединения новобрачных у всех народов выражена в образах двух цветов или плодов:

Ягода с ягодой сокатилася,  
Ягода ягоде поклонилася [23, № 142].

Многие украинские песни о взаимоотношениях жениха и невесты открываются зачином:

У садочку две квіточки  
Первая квіточка — то ж Ивашко,  
Другая квітка — то ж Марьечка.

Песня, обращенная к одному из новобрачных, начиналась соответственно одной строкой зачина [31, с. 90, 92, 97, с. 100—101, 111—113]. В болгарских песнях: Руска вьет букеты для себя и для Ивана [19, № 491—494, 509].

.....  
Вита слива цвят цѣфнала  
Вся тя слива и ябълка,  
Сливата сама Стана  
Ябълката — сам си Делю [19, № 482].

Черна черешня раскинула ветви между двух дорог. То не черна черешня — Иван и Рада [19, № 482, 508]. В русских свадебных песнях жених и невеста — два яблочка «садовые, медовые» [21, № 276]. В болгарских «пришевках» яблоко падает в невестин сад [18, № 475], молодожены играют со златым яблоком [9, с. 505]. Они разрезают его ножом [16, с. № 765, 766]. Видимо, весь этот круг символических образов можно считать древнейшим славянским.

Анализируя семантику яблока в мифологии народов древности и сказках народов мира, Р. Г. Назиров делает вывод, что оно «предстает как

<sup>2</sup> Подробно об общности образов птиц в фольклоре восточных славян и о своеобразии их у каждого из трех народов см. [30, с. 24—25].

символ любви и земного плодородия» [33, с. 21]. Возможно, что изучение семантики некоторых символов на более широком материале показало бы распространение их за пределами славянского мира и позволило бы объяснить их генезис. Но такое изучение не вошло в нашу задачу.

Наряду с отмеченными мы обнаруживаем в русских свадебных песнях значительное расширение круга поэтических образов-символов. Они почерпнуты, видимо, из боярского или княжеского быта Новгородской или Московской Руси. Это — золото, серебро, драгоценные камни (яхонт, жемчуг): «Золото с золотом свивалося, жемчуг с жемчугом сокаталися» — это сходились жених с невестой, «наше то золото получше», «да наш-то жемчуг подороже» [21, № 286 — Арх. обл.]. «У сизого голубя золотая голова, у голубушки позолоченная» [21, № 319—325]. Образам величаемых соответствует и окружающая их обстановка: молодая боярыня носит на серебряном блюде по три ярта серебряных [21, № 318 — Мурм. обл.], упоминаются дорогие ткани (парча, бархат) и меха (соболей, куниц) — «на горке деревцо кунами обросло, соболями расцвело» [21, № 135—136 — Арх. обл.]. На подушке «плиса бархатной» против «зеркала хрустального» жених расчесывал кудри, «золоты кудри, серебряные» [21, № 140 — Арх. обл.]. Невеста кроет леса алым бархатом, жених ходит по торгу, покупает бархат, несет его невесте [21, № 374 — Арх. обл.].

Сравнительный анализ болгарских и восточнославянских свадебных песен на уровне композиции, сюжетов и образов позволяет выделить три типа простейших песен, общих по функции и композиции у всех народов, и установить общие принципы художественного изображения (параллелизм, символика). Все это, несомненно, черты древнейшие.

В дальнейшем развитие поэтических форм у всех народов шло в одном направлении: усложнялась композиция песен, развивались формы выражения лирического начала, расширялся круг сюжетов (особенно относящихся к более сложному типу). Все это явилось основой образования национальных репертуаров, своеобразных по сюжетам и образам.

Наиболее архаичные элементы сохранились в болгарском и украинском фольклоре, где более отчетливо проступает связь с обрядовой основой. В этих двух традициях наблюдаются общие сюжеты и образы-символы.

Белорусская традиция, храня некоторую общность с украинской, ближе к среднерусской и севернорусской. Число общих сюжетов и образов здесь довольно значительно. Своеобразие их поэтических образов, общего настроения, распространение у этих народов развитого жанра свадебных причитаний объясняются иными историческими и бытовыми условиями формирования национальной традиции свадебного фольклора в центре и на севере России.

Процесс сложения национального репертуара каждого народа осуществлялся в пределах региональных традиций, различавшихся между собою, но в то же время содержащих сюжеты, характерные для национального репертуара в целом: «Ела се вие» — у болгар, «Отлетала лебдушка» — у русских. Явление это еще мало изучено, однако, изучение его возможно и необходимо.

И.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Сумцов Н. Ф.* О свадебных обрядах преимущественно русских. Харьков, 1881.
2. *Арнаудов М.* Българските сватбени обреди. — В кн.: Годишник на Софийски университет. Ист.-филол. фак., т. 27, ч. 1. София, 1931.
3. *Вакарелски Хр.* Сватбената песен. Мястото и службата и в сватбенния обред. — Известия на Народния етнографски музей в София, кн. 13. София, 1939.
4. *Кауфман И.* Някои общи черти между народната песен на българите и източните славяни. София, 1968.
5. *Кауфман И.* Българската сватбена песен. София, 1976.
6. *Квітка К. В.* Явища спільності в мелодіці і ритміці болгарських і українських народних пісень (рукопись).
7. *Квітка К. В.* Избрание труды в 2-х т. Ред. и примечания П. Г. Богатырева. Т. 1—2. М., 1971—1973.
8. *Рубцов Ф. А.* Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Л., 1962.

9. Българско народно творчество в 12-и т. Т. 5. Обредни песни. Отбр. и редактир-проф. М. Арнаудов и Хр. Вакарелски. София, 1962.
10. *Колпакова И. П.* Русская народная бытовая песня. М.— Л., 1962.
11. *Аникин В. П.* Календарная и свадебная поэзия. М., 1970.
12. *Элиаш Н. М.* Русские свадебные песни. Орел, 1966.
13. *Колесницкая И. М.* Простейшие типы русских народных свадебных песен.— В кн.: Русский народный свадебный обряд. Л., 1978.
14. *Круглов Ю. Г.* Вопросы классификации и публикации русского свадебного фольклора.— В кн.: Русский фольклор. Т. 17, Л., 1977.
15. *Чубинский П. П.* Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край. Т. 4. СПб., 1877.
16. Народни песни от Тимок до Вита. Ред. Вас. Стоин. София, 1928.
17. Народни песни от Средна Северна България. Ред. Вас. Стоин. София, 1921.
18. Народни песни от Северо-източна България. Т. 1. Сост. Р. Кацарова, Ив. Качулев, Е. Стоин. София, 1962.
19. Народни песни от Северо-източна България. Т. 2. Сост. и ред. Ив. Качулев. София, 1972.
20. *Иванова-Златарева Р. Т.* Поетика на българската народна сватбена песен. Автореф. дис. на поискание уч. ст. канд. филол. наук. София, 1975, 20 с.
21. *Колпакова И. П.* Лирика русской свадьбы. Л., 1973.
22. Вяселле. Минск, 1978.
23. Песни, собранные П. В. Киреевским, вып. 1. М., 1911.
24. *Кравцов Н. И.* Поэтика русских народных лирических песен. Ч. 1. Композиция. М., 1974.
25. *Лазутин С. Г.* Композиция русских народных лирических песен.— В кн.: Русский фольклор. Т. 5. М.— Л., 1960.
26. *Шейн П. В.* Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края. Т. 1, ч. 2. СПб., 1890.
27. *Добровольский В. Н.* Смоленский этнографический сборник. II. СПб., 1894.
28. Лирика беларускага вяселля. Минск, 1979.
29. *Иванова Р.* За художествения плач в българската народна сватба.— В кн.: Фолклорът и народните традиции в съвременната национална култура. София, 1976.
30. *Бернштам Т. А.* Орнитоморфная символика у восточных славян.— Советская этнография, 1982, № 1.
31. Весілля у двоих книгах. Київ, 1970.
32. *Курочкин А. В.* Растительная символика календарной обрядности украинцев.— В кн.: Обряды и обрядовый фольклор, М., 1982.
33. *Назирова Р. Г.* Яблоко и гранат в мифах и сказках разных народов.— В кн.: Фольклор народов РСФСР. Уфа, 1981.



## О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ СЛАВЯНСКОЙ МОРФОНОЛОГИИ

Морфонология как наука возникла на основе изучения тех языков, в которых морфы одной морфемы могут быть частично фонологически нетождественными.

Наличие фонологически нетождественных морфов одной морфемы характерно в целом для всех индоевропейских языков. В частности, весьма сложные по структуре и четко организованные ряды вокалических и, особенно, консонантных чередований, обусловленные системным (т. е. предсказуемым) варьированием морфов одной морфемы, представлены в славянских языках. Не случайно поэтому именно в рамках славянского языкознания началось формирование морфонологических идей.

Основы морфонологии как особой области языкознания были заложены И. А. Бодуэном де Куртене и Н. В. Крушевским. Для дальнейшего же ее развития очень многое было сделано Н. С. Трубецким. В его работах конца 20-х — начала 30-х годов не только впервые формулируется проблематика морфонологической теории, в которой он выделяет: а) теорию фонологической структуры морфем; б) теорию комбинаторных звуковых изменений при сочетании морфем; в) теорию звуковых чередований, выполняющих морфонологическую функцию [1, с. 116—117], но и, в соответствии с выдвинутой теоретической концепцией, осуществляется конкретное морфонологическое описание на материале русского и полабского языков. Следует отметить, что и сейчас еще лингвисты продолжают обращаться в своих исследованиях к плодотворным идеям Н. С. Трубецкого, которые до сих пор оказывают стимулирующее воздействие на развитие морфонологии. Примерно в те же годы актуальность изучения славянской морфонологии была осознана и другими представителями Пражского лингвистического кружка. В одном из пунктов «Тезисов» говорится: «Важной проблемой лингвистики (в частности, лингвистики славянской) является... морфонологическое использование фонологических различий (...морфонология)... Фонологическое и морфонологическое описание всех языков и их диалектов — насущная проблема славистики» [2, с. 21, 22].

Однако интерес к славянской морфонологии в силу различных причин долгое время был весьма умеренным, и лишь в последние полтора — два десятилетия эта область лингвистики начала интенсивно развиваться. Появилось большое количество работ, посвященных как конкретному исследованию морфонологических явлений в синхронии и диахронии (см., например, [3]), так и теоретическому осмыслению результатов этих исследований.

В то же время нельзя не отметить и некоторые недостатки, характеризующие в целом уровень развития морфонологии (как славянской, так и общей). В работах как теоретического, так и описательного характера

обнаруживается чрезвычайное разнообразие концепций (не только собственно морфонологических, но и фонологических и грамматических, от чего, в конечном итоге, также зависит характер интерпретации морфонологических явлений): по-разному определяется объект исследования, отсутствует единая схема отбора материала, применяются различные методы его описания и т. п. Все это делает почти полностью несопоставимыми накопленные до сих пор ценные морфонологические факты из разных языков и диалектов (см., например, [4, с. 5—6, 8—9])<sup>1</sup>. Важно также подчеркнуть, что далеко не всеми славистами осознана необходимость специального изучения морфонологической структуры языков. В итоге в подавляющем большинстве существующих грамматических описаний литературных славянских языков (и тем более диалектов), нет не только самостоятельных морфонологических разделов, но часто и необходимого для исследования морфонологических явлений материала.

Отсюда следует, что актуальной задачей славянского языкознания на современном этапе является системное и сопоставительное изучение морфонологии славянских языков и диалектов в синхронии и диахронии с целью, во-первых, определения роли морфонологических средств в организации словоизменения и словообразования в каждом языке в отдельности, во-вторых, выявления сходств и различий в морфонологической структуре славянских языков и диалектов и, в-третьих, определения значения морфонологических признаков для типологической характеристики современных славянских языков [1, с. 118]<sup>2</sup>.

В настоящей статье мы остановимся на некоторых вопросах теории морфонологии, необходимых для осуществления сопоставительного морфонологического анализа, ограничиваясь при этом рамками сегментных чередований в словоизменении.

В морфонологии как особом разделе лингвистики должны изучаться, по-видимому, следующие явления: а) фонологические различия в строении морфем разных типов (именных и глагольных основ, флексий и т. п.); б) формальные особенности структуры слова, которые возникают при соединении составляющих слово морфем в одно целое и сигнализируют, наряду с аффиксами, о выполняемых этим словом грамматических функциях; в) фонологические различия в составе морфов одной морфемы; г) отношения между варьирующимися морфемами, которые определяются функционированием морфемы в составе слова; д) модели (или правила) варьирования морфов одной морфемы, которые объясняют характер корреляции между изменениями грамматического значения словоформы и фонологического облика морфа, входящего в данную словоформу; е) характер грамматической информации, передаваемой морфонологическими средствами.

Уже из одного только перечисления явлений, которые изучаются в морфонологии, следует, что особенностью этой лингвистической дисциплины является ее своеобразная «двуплановость», т. е. обращенность, с одной стороны, к фонологии, а с другой — к грамматике [9, с. 26].

Исследование закономерностей варьирования формы знаковой единицы — морфемы раскрывает функциональную значимость этого варьирования и показывает, что переменные сегменты морфов, формируя в рамках морфемы *морфонологическое чередование*, являются носителями впол-

<sup>1</sup> Ср. справедливое замечание Т. В. Булыгиной: «...хотя необщепринятость тех или иных теоретических представлений — отнюдь не исключение и для любой другой области лингвистического исследования, морфонология занимает в этом отношении едва ли не первое место» [5, с. 207].

<sup>2</sup> В настоящее время в Институте славяноведения и балканистики АН СССР совместно с кафедрой славянской филологии МГУ ведется работа над коллективной монографией «Славянская морфонология», целью которой является синхронное сопоставительное исследование морфонологических средств именного и глагольного словоизменения в некоторых современных восточно-, западно- и южнославянских литературных языках. Следует отметить, что вопросы славянской сопоставительной морфонологии отчасти уже ставились в работах, посвященных анализу словоизменительной морфонологии либо на материале нескольких диалектов одного славянского языка, либо на материале двух близкородственных литературных славянских языков (см., например, [4; 6; 7; 8]).

не определенной грамматической информации и принимают участие в противопоставлении словоформ одного слова.

Переменные сегменты морфов одной морфемы, фиксируемые, как правило, на морфемной границе, возникают в результате взаимоприспособления морфов разных морфем в рамках одной словоформы. При этом предметом морфологии (а не фонологии) являются те звуковые преобразования, которые не могут быть объяснены современными звуковыми закономерностями данной языковой системы и могут рассматриваться как носители определенной морфологической информации (подробнее об этом см. ниже)<sup>3</sup>.

Однако необходимо отдавать себе отчет в том, что довольно трудно увидеть «грамматичность» морфонологических чередований, которые, во-первых, захватывают лишь часть фонологического состава лексических морфем, во-вторых, только сопровождают оформление конкретных словоформ определенными грамматическими морфемами и, в-третьих, характеризуют лишь ограниченное число слов (см., например, *сон, сна...*, но *дом, дома...*). Поэтому в лингвистике не так уж редко встречается мнение о том, что морфонологическое чередование — это избыточный структурный элемент слова с «пустым» значением; на таком мнении основывается, в частности, вполне традиционное рассмотрение чередований в разделе «Фонетика» в некоторых грамматических описаниях славянских языков (см., например, [11]).

В действительности же морфонологическое чередование не является лишь избыточным структурным элементом слова. Нам представляется, что на функциональную значимость морфонологических средств указывают такие формы одного слова (или одной словообразовательной модели), грамматическое противопоставление которых друг другу передается так называемой «внутренней флексией» (имеются в виду словоформы с омонимичными аффиксальными морфемами и чередованием фонем в основе). Так, например, в парадигме болгарского глагола *орá* основная нагрузка в передаче грамматического противопоставления форм имперфектного причастия муж. рода ед. числа *орял* и аористного причастия муж. рода ед. числа *орáл* (при совпадении причастного суффикса *-л* и флексии муж. рода ед. числа, выраженной нулем звука) ложится на чередование фонем /р'/ (в форме имп. прич.) и /р/ (в форме аор. прич.), в то время как различительная функция суффиксальных показателей, которые, собственно, и должны выражать в данном случае грамматическое значение вида в рамках прошедшего времени (несовершенного, или имперфекта, и совершенного, или аориста), фактически сведена к нулю из-за их омонимичности: *-а-* — суффикс имперфекта и аориста (ср. при этом образование в болгарском литературном языке аналогичных форм имп. прич. и аор. прич., но без участия «внутренней флексии», например, от глагола *лепя*: *лепял* и *лепíл*). Наличие в языке форм с «внутренней флексией», когда морфонологическое чередование является единственным материально выраженным различителем грамматического значения словоформ, в результате чего его функциональная роль выступает как бы в обнаженном виде, свидетельствует о том, что морфонологическое чередование является носителем определенной грамматической информации и участвует, наряду с аффиксами, не только в грамматическом оформлении, но и в противопоставлении словоформ одного слова.

В качестве еще одной из важных характеристик морфонологических чередований следует отметить их участие в организации всей парадигмы и как бы в ее цементировании: ведь чередование, выступающее и функционирующее как целостная единица, является одним из признаков слова

<sup>3</sup> Кстати, известные трудности, связанные с проблемой морфологической членности словоформ и с установлением морфологических границ во флективных языках заставляют обратить особое внимание на сегментные морфонологические чередования, происходящие в исходе основы слова. Именно наличие переменного сегмента в морфах одной морфемы, т. е. наличие морфонологического чередования, можно квалифицировать как диэрему, т. е. такой элемент словоформы, который обладает функцией разграничения морфем (см., например, [10, с. 84]).

(в совокупности всех словоформ его парадигмы) <sup>4</sup>. Но вместе с тем нельзя забывать и о том, что чередование, представляя собой целостную единицу, является порождением такого универсального свойства языковой системы, как вариативность отдельных ее элементов, поскольку морфологическое чередование — это результат варьирования формы знака [12].

Число морфологических альтернантов (ступеней чередования) соответствует числу вариантов основы в рамках парадигмы одного слова; каждый альтернант объединяет те словоформы, в которых выделяется один и то же вариант основы. В соответствии с этим в каждом языке все словоформы глагольных и именных парадигм могут быть распределены в определенные и характерные для данного языка группы; отдельная группа может включать в свой состав либо одну словоформу, либо ряд словоформ с тождественным вариантом основы. Выделенные группы словоформ как бы выполняют роль простейших «строительных блоков», из которых может быть составлена парадигма любого конкретного глагола путем различного сочетания данных «блоков» между собой на базе идентичности фонемного состава вариантов основы. Так, например, полный учет всех форм глагольного словоизменения в болгарском литературном языке дает основания выделить семь групп словоформ: 1) 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. наст. вр.; 2) 2, 3 л. ед. ч. и 1, 2 л. мн. ч. наст. вр.; 3) имп., имп. прич.; 4) повел.; 5) 1 л. ед. ч. и 1, 2, 3 л. мн. ч. аор.; 6) 2, 3 л. ед. ч. аор.; 7) аор. прич. Это разбиение на группы «блоки» позволяет просто и однозначно описать существующие морфологические чередования; так, глагол *пекá* характеризуется чередованием /к/ (1, 5, 7) ~ /ч/ (2, 3, 4, 6), глагол *мáжа* — чередованием /ж/ (1, 2, 3, 4) ~ /з/ (5, 6, 7) и т. д. В русском литературном языке выделяется шесть групп словоформ: 1) 1 л. ед. ч. наст. вр.; 2) 2, 3 л. ед. ч. и 1, 2 л. мн. ч. наст. вр.; 3) 3 л. ед. ч. наст. вр.; 4) повел.; 5) прош. вр.; 6) инфинитив. В польском литературном языке отмечено 11 групп словоформ на основе изучения парадигм всех глаголов [13, с. 268—269].

Из сказанного следует, что морфонология, как и морфология, занимается анализом средств передачи рода грамматических значений. По в морфонологии, в отличие от морфологии, эти грамматические значения передаются не аффиксами, а морфонологическими чередованиями, которые своими собственными средствами, путем минимального преобразования формы знака, сигнализируют о возможных изменениях в значении — и тем самым участвуют в грамматическом противопоставлении словоформ одно-

<sup>4</sup> Изучая сферу и характер действия морфонологических чередований, важно всегда помнить о том, что чередование — это целостная единица, состоящая из отдельных ступеней (или альтернантов). Сами по себе одна словоформа или ряд словоформ с одинаковым вариантом основы (например, в болгарском литературном языке формы 1 л. ед. наст. *пек-á*, *мáж-а* и 3 л. мн. наст. *пек-áт*, *мáж-ат*), выхваченные из парадигмы, не дают никакой информации о морфонологической структуре слова (в данном случае глаголов *пекá* и *мáжа*). И только анализ всех форм этих глаголов и выделение другого ряда словоформ (например, *печ-éш*, *печ-é*, *печ-éм*, *печ-éте*, но *мáж-éш*, *мáж-é*, *мáж-éм*, *мáж-éте*) даст исковую морфонологическую информацию: парадигма глагола *пекá* характеризуется чередованием /к/ ~ /ч/, а парадигма глагола *мáжа* — отсутствием морфонологического чередования. Отсюда следует, что нельзя сравнивать между собой отдельные словоформы, относящиеся к разным, хотя и однокоренным, словам, поскольку при таком сравнении не выполняется важнейшее условие морфонологического анализа — учет противопоставленности словоформ одного слова. Так, например, на уровне непосредственного наблюдения сопоставление русских инфинитивов *разорвáть* и *разрýвáть* свидетельствует о том, что они противопоставлены по виду и что это противопоставление выражено одним лишь чередованием гласного с нулем звука, без участия аффиксов. Однако было бы неверным сопоставлять данные изолированные словоформы, отделенные от других словоформ парадигмы, для выяснения их морфонологической характеристики, так как они относятся к разным словам и входят, следовательно, в разные парадигмы: словоформа совершенного вида *разорвáть* находится в одном ряду со словоформами *разорвú*, *разорвéшь...*, *разорвáл...*, *разорвúл...* и может быть (в рамках словоизменения) сопоставлена только с ними, а словоформа несовершенного вида *разрýвáть* — в одном ряду с *разрýвáю...*, *разрýвáл...*, с которыми только и может быть сопоставлена. Сравнение же морфонологической характеристики двух слов, к которым относятся и инфинитивные словоформы *разорвáть* и *разрýвáть*, покажет, что различаются они не только структурой основы (гласный или нуль звука внутри основы), но и системой флексий, а также чередованием /в/ ~ /в'/ в глаголе *разорвáть* и отсутствием чередования в глаголе *разрýвáть*.



го слова. Следовательно, ни одна парадигма в славянских языках не может быть построена без знания свойственных данной языковой системе морфонологических моделей и морфонологических правил синтеза слова.

Неразрывная связь морфонологических явлений с морфологическими обуславливает необходимость включения в морфонологическое исследование предварительного грамматического анализа материала. Это же свидетельствует и о том, что морфонологический раздел должен входить в качестве обязательного во все описательные грамматики славянских языков.

Но с другой стороны, явления морфонологии теснейшим образом связаны и со звуковой системой языка, поскольку их материальная субстанция выражается звуковыми единицами. Более того, на первый взгляд фонологическое и морфонологическое чередования — явления одного и того же порядка, тем более, что условия их возникновения и характер протекания оказываются часто одинаковыми: это ряды словоформ в рамках парадигмы одного слова и стык морфем (ср., например, в болгарском литературном языке формы 1 л. ед. ч. наст. вр., *ne[k]á*, *me[m]á* и 2 л. ед. ч. наст. вр. *ne[ç]ésh*, *me[t]ésh*). В действительности же между фонологическими и морфонологическими чередованиями существуют принципиальные различия:

1) Основой любого фонологического чередования (например, в рамках МФШ — при чередовании сильной фонемы со слабой) может быть как наличие звукового изменения (ср. *zú[b]ы* — *zyl[n]*), так и отсутствие такого изменения (ср. *cy[n]á* — *cy[n]*). Основой же морфонологического чередования *всегда* является только звуковое изменение (а при отсутствии такового — отсутствует и само морфонологическое чередование).

2) Фонологические чередования характеризуются обязательностью и всеобщностью и имеют статус звуковых законов. Морфонологические же чередования являются обязательными лишь для определенных (часто очень ограниченных) фрагментов системы языка (ср., например, в болгарском литературном языке два типа глаголов I спряжения с основой на [й]: тип *váy*, *znáy* с отсутствием морфонологического чередования и тип *mechtáy*, *tkáy* с морфонологическим чередованием | й | ~ ø, которое участвует в противопоставлении форм настоящего времени и аориста).

3) Фонологические чередования всегда обусловлены фонетическим контекстом. Морфонологические же чередования обусловлены рядом иных факторов (чаще всего морфологической позицией), но только не фонетическим контекстом (на современном синхронном срезе): они не могут быть объяснены современными звуковыми законами, свойствами самих звуков и правилами их комбинаторики<sup>5</sup>. Если даже фонологическое изменение фиксируется на стыке морфем и реализует собой явления внутреннего или внешнего сандхи, то и в этом случае оно всегда объясняется фонетическими причинами, попадая в сферу действия того или иного современного фонетического закона, и носит характер внешнего совпадения (позиция стыка морфем!) с морфонологическим чередованием.

Из сказанного вытекает, что морфонологическому исследованию должен предшествовать и тщательный анализ звуковой системы языка, установление правил звуковой синтагматики и парадигматики.

<sup>5</sup> Довольно распространенным является мнение о фонетической обусловленности некоторых морфонологических чередований, рассматриваемых в рамках какого-либо фрагмента грамматической системы языка. Этот, на первый взгляд, справедливый вывод можно сделать на основании таких, например, фактов, как регулярное, не знающее исключений, изменение заднеязычных [к, г, х] в исходе болгарских глагольных основ в [ч, ж, ш] при словоизменении в позиции перед всеми флексиями, начинающимися с гласных переднего ряда [е, и], ср.: *peká*, *pekoá*, *pekaá*, но *pechésh*, *pechésh*, *peche*, *pechí*. (При этом интересно отметить, что в системе русского глагольного словоизменения отсутствует подобная закономерность, ср.: *клайкал*, *пазэл* — *клайчеш*, *пáшеш*, *пашш*, но *лш*, *пешш*.) Однако для разграничения среди звуковых изменений фонетических и морфонологических необходим выход за рамки того или иного фрагмента грамматической системы: фонологическое чередование (в отличие от морфонологического) характеризуется всеобщностью и проявляется повсеместно, вне зависимости от знакового членения текста [4, с. 24, 25—27].

Суммируя все сказанное о морфонологическом чередовании, можно определить его следующим образом:

а) это целостная единица, являющаяся одним из признаков слова (в совокупности всех форм его парадигмы); б) по своему происхождению чередование — это результат варьирования формы знаковой единицы — морфемы; в) морфонологическое чередование состоит из двух (и более) элементов (ступеней, или альтернантов); каждый альтернант как член чередования является признаком отдельной словоформы (или нескольких словоформ одной парадигмы с тождественной реализацией основы)<sup>6</sup>; важно при этом подчеркнуть, что альтернант может выполнять свои морфонологические функции в дифференцировании словоформ и передаче определенной грамматической информации лишь в качестве члена морфонологического чередования; сам же по себе, вне рамок чередования, он лишается морфонологической значимости и не может служить признаком словоформы, входящей в парадигму и грамматически противопоставленной другим словоформам той же парадигмы<sup>7</sup>; г) морфонологическое чередование представляет собой комбинацию формальной (фонологической) и функциональной (грамматической, классификационной) характеристик; д) чередования свойственны лишь ограниченному числу слов, поэтому морфонологически маркированными могут быть только некоторые фрагменты словоизменительных систем; е) для морфонологически маркированных парадигм чередование является предсказуемым, что свидетельствует о системном характере варьирования морфов одной морфемы; именно предсказуемость чередований, употребляющихся в типизированных морфонологических позициях какого-либо класса слов, определяет те границы варьирования данной морфемы, в пределах которых ее единство не разрушается; ж) фонемное морфонологическое чередование, являясь структурным элементом слова, в подавляющем большинстве случаев фиксируется в конечном (исходном) сегменте основы слова и может интерпретироваться в качестве диэремы (пограничного сигнала); наличие в составе слова сегмента, в котором происходит морфонологическое чередование, можно рассматривать как формальное указание на границу морфемы в языках флективного строя.

Известно, что синхронный сопоставительный анализ двух (и более) родственных языковых систем может быть предпринят для того, чтобы через выявление сходств и различий между ними получить наиболее объективное представление об устройстве, функционировании и индивидуальных особенностях каждой языковой системы в отдельности.

Важно отметить, что для осуществления сопоставительного изучения какого-либо фрагмента языковой системы (например, словоизменительной морфонологии славянских языков) необходимо соблюдение целого ряда условий, среди которых отметим некоторые, наиболее, по нашему мнению, существенные. Это: а) предварительное создание единой программы исследования<sup>8</sup>; б) определение объема исходного материала, достаточного для выполнения этой программы с точки зрения его количества и качества, в) разработка единой процедуры анализа материала и единой системы единиц его описания; г) выбор такого способа описания материала, который позволил бы получить наиболее адекватное представление о мор-

<sup>6</sup> Ступень чередования, характеризующая одну из словоформ (или несколько словоформ) слова может быть выражена либо фонемой (например, в болгарском *муста/к/* при сопоставлении с формой мн. ч. *муста-/ц/и*), либо сочетанием фонем (например, в болгарском глаголе 1 л. ед. ч. наст. вр. *дрá/шт'я* при форме 1 л. ед. ч. аор. *дрá/ск(ах)*), либо нулем звука (ср. в болгарском глаголе 1 л. ед. ч. наст. вр. *б/елрá* при форме 1 л. ед. ч. аор. *б # рах*).

<sup>7</sup> Выделение ступеней чередования, реализованных сегментными единицами, связано с изучением морфонологических условий взаимоприспособления морфов, расположенных в линейной последовательности в границах словоформы, и представляет собой синтагматический аспект морфонологического анализа. Выявление самих чередований связано с процедурой отождествления (идентификации) морфем и представляет собой парадигматический аспект морфонологического анализа.

<sup>8</sup> Об этом подготовительном этапе любого исследования (в том числе и сопоставительного) см. подробнее [14, с. 11—17].

фонологических средствах в каждом из изучаемых языков. Только последовательная реализация всех указанных условий может дать надежное основание для сопоставления полученных результатов и формирования выводов типологического характера (см., например, [15]).

Что касается сопоставительного изучения морфонологической структуры славянских языков в синхронном плане, то исследователь, прежде чем приступить к анализу морфонологических фактов, должен составить четкое представление о звуковой системе и грамматическом строе каждого языка. Лишь после этого он может приступить к описанию собственно морфонологических средств, учитывая при этом необходимость в соблюдении определенной иерархии анализа и в постановке и решении ясно очерченного круга вопросов. В качестве примера приведем один из возможных вариантов такой программы исследования морфонологических данных, формулируя каждый отдельный ее пункт в самом обобщенном виде:

а) обоснование морфонологичности того или иного звукового изменения; б) выявление тех фонем, которые участвуют в морфонологических чередованиях, и составление формального инвентаря морфонологических средств; в) выделение того круга слов, парадигмы которых оформляются при помощи морфонологического преобразования основ; г) выявление тех грамматических категорий, которые являются морфонологически маркированными; д) определение тех грамматических оппозиций, для выражения которых используются морфонологические чередования; е) анализ корреляции между изменением грамматического значения и морфонологическим преобразованием основы и определение характера грамматической информации, передаваемой морфонологическим чередованием; ж) составление инвентаря морфонологических чередований, характеризующих исследуемый фрагмент грамматической системы языка, и конструирование на этой основе морфонологических моделей; з) определение продуктивности/непродуктивности отдельных морфонологических моделей и степени их участия (их удельного веса) в организации той или иной грамматической категории [16, с. 196—213]; и) определение морфонологических правил построения парадигм морфонологически маркированных слов.

Очевидно, что для каждого отдельного языка на основе исчерпывающего системного изучения какого-либо фрагмента (например, глагольного или именного словоизменения) указанные пункты программы должны быть детализированы таким образом, чтобы можно было бы выявить, наряду с чертами, общими для всех славянских языков, и морфонологическую специфику данного языка.

Опубликованные к настоящему времени работы, посвященные исследованию морфонологической структуры, свидетельствуют о том, что между славянскими языками, наряду со сходством, существуют немалые различия и в инвентаре морфонологических чередований, и в составе грамматических категорий, маркируемых морфонологически, и в продуктивности отдельных чередований. Так, например, в именной системе болгарского языка только противопоставления по числу строятся с участием чередований. В русском языке морфонологически маркированными оказываются грамматические категории числа и падежа, а в лужицких языках — категории числа, падежа и личности.

Из консонантных чередований в болгарской именной системе только чередование заднеязычных с переднеязычными свистящими (тип *nътник* ~ *nътници*, *бѣлег* ~ *бѣлези*, *кожѹх* ~ *кожѹси*) является продуктивным, в русской именной системе вообще нет продуктивных консонантных чередований, а в польском и лужицких отмечены различные типы консонантных чередований (заднеязычных с шипящими и свистящими, свистящих с шипящими, твердых с мягкими), которые являются достаточно продуктивными.

В морфонологии глагольного словоизменения русского и болгарского литературных языков есть немало общего. Так, морфонологически маркированными и в том, и в другом языках являются категории лица, числа и времени, а продуктивными в двух языках оказываются чередования заднеязычных с шипящими и твердых с мягкими. Но многие морфоноло-

гические характеристики в этих языках не совпадают. Так, в русском языке очень продуктивным является чередование типа Р ~ Р' (Р — губной), полностью отсутствующее в болгарском. В русском языке возможна морфонологическая вариативность как однородных консонантных структур (т. е. С ~ С: *пе/к/ý ~ пе/ч/éшь*), так и неоднородных структур (т. е. С ~ СС: *гу/бл'ю ~ гу/б'/ишь*). В болгарском же чередование возможно только в пределах однородных структур (т. е. С ~ С или СС ~ СС: *пé/к/ox ~ пé/ч/е, дрá/шт'я ~ дрá/ск/ax*). В русском языке во многих глаголах исход основы в формах 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. наст. вр. может быть реализован как одной и той же ступенью чередования (*пе/к/ý, пе/к/ýт; кá/пл'ю, кá/пл'ют*), так и разными ступенями чередования (*ле/пл'ю, ле-/п'ят*). В болгарском же исход основы в этих формах может быть реализован только одной и той же ступенью чередования.

Существуют различия также и в количестве альтернантов, составляющих морфонологическое чередование, а, следовательно, и в количестве вариантов основы парадигмы одного слова. Так, если болгарский глагол, как правило, характеризуется чередованием с двумя альтернантами, то польскому глаголу свойственны чередования не только с двумя, но и с тремя, четырьмя и пятью альтернантами [13].

Даже эти самые общие примеры свидетельствуют о том, насколько широким оказывается диапазон явлений, относящихся к морфонологии, и насколько в связи с этим сложным должно быть морфонологическое описание. И чтобы подготовить основу для сопоставительного анализа морфонологической структуры, важно предварительно составить полные и системные описания морфонологических средств в каждом языке в отдельности. Для этого необходимо разработать подробную программу исследования (включающую этапы сбора, обработки, интерпретации материала и способы его описания), в которой были бы учтены все детали, существенные для создания морфонологической модели, адекватной объекту описания.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Трубецкой Н. С. Некоторые соображения относительно морфонологии.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
2. Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
3. Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. М., 1974.
4. Попова Т. В. Глагольное словоизменение в болгарском языке (морфонологический аспект). Автореф. докт. дис. М., 1978.
5. Булыгина Т. В. Проблемы теории морфонологических моделей. М., 1977.
6. Велчева Б., Попова Т. В. Морфонологичното акцентно редуване в глаголите от II спрежение като един от признаците за диалектна типологическа характеристика.— В кн.: В памет на проф. д-р Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. София, 1974.
7. Попова Т. В. К вопросу о значении морфонологических признаков для диалектного членения болгарского языка.— В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования (ОЛА), 1977. М., 1979.
8. Ермакова М. И. Грамматические чередования как элемент характеристики парадигмы имени существительного в верхне- и нижнелужицком литературных языках.— В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфонологии. М., 1981.
9. Бромлей С. В. Морфонология и грамматика.— В кн.: ОЛА, 1972. М., 1974.
10. Павлов М. В. Русский язык и советское общество. Алма-Ата, 1962.
11. Грамматика на съвременния български книжовен език. Том I. Фонетика. София, 1982.
12. Попова Т. В. Морфонологическое чередование как отражение морфонологической вариативности.— В кн.: Вариативность как свойство языковой системы (тезисы докладов). Ч. 2. М., 1982.
13. Толстая С. М. Морфонологические типы глагольных парадигм в польском литературном языке.— В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфонологии. М., 1981.
14. Калынь Л. Э., Попова Т. В. Синхронное описание одного диалекта как особый вид диалектологического исследования.— В кн.: ОЛА, 1979. М., 1981.
15. Попова Т. В. Проблемы болгарской морфонологии.— В кн.: Първа национална младежка школа по езикознание. София, 1981.
16. Аронсон Г. Морфонология болгарского словоизменения. М., 1974.



## К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ СОБИРАТЕЛЬНОСТИ В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ

1. Собирательность как языковое явление привлекает довольно пристальное внимание лингвистов; существует большое число работ, в которых анализируются разные стороны и свойства этого явления на материале славянских языков. Чаще всего специфика собирательности связывается с существованием в славянских языках особой группировки — собирательных существительных. Последние подробно описаны в разных аспектах — семантическом, словообразовательном, грамматическом; меньше внимания уделялось их синтаксическому функционированию. Отвлекаясь от частных расхождений в трактовке собирательных существительных разными исследователями (с точки зрения критериев выделения собирательных существительных, определения границ данной группировки, установления ее статуса в языковой системе и др.), мы должны признать, что в целом в современной славистике установилась довольно стабильная традиция рассматривать собирательные существительные в качестве лексико-грамматического разряда, выделяющегося из общей массы имен существительных на основе своеобразной семантики. Определенная часть собирательных существительных характеризуется также особыми словообразовательными показателями. Суть значения собирательных существительных состоит в том, что оно передает прежде всего «отвлеченное от реальной действительности представление о некотором количестве однородных величин как о целостной единице, совокупности» [1, с. 76], т. е. собирательное существительное как номинативная единица обозначает некоторое абсолютное множество как единое целое. В семантике собирательных существительных можно выделить ряд ведущих семантических компонентов, отражающих особенности обозначаемых этими существительными собирательных понятий: 1) указание на множество, на совокупность элементов; 2) на целостный характер этого множества, 3) на качественную характеристику совокупности, которая складывается из качественной характеристики элементов и типа связи этих элементов между собой в рамках совокупности. В конкретных высказываниях собирательное существительное может также обозначать актуальное множество в качестве единого целого, когда реализуется конкретная предметная соотнесенность с определенным множеством элементов. Ср.: а) собирательное существительное выражает абсолютное множество, общее понятие об определенном типе элементов: *Друзья Фомы Коршунова в станице* — к а з а ч ь я б е д н о т а<sup>1</sup>; *Język i moda niemieckie zagościły na dworach książęcych, rozszerzały się z nich w duchowieństwie i szlachcie*;

<sup>1</sup> Здесь и ниже в качестве иллюстративного материала используются примеры, почерпнутые из художественной литературы, публицистики и словарей литературного языка.

б) собирательное существительное обозначает реальное множество предметов или лиц, составляющих определенное единство: *К р е с т ь я н с т в о р а с к о ш е л и л о с ь*; *Н е с у т Е р м и л у д е н е ж к и*; *Д а ю т , к т о ч е м б о г а т*; *Tal-erze poniechane tak, jak dopiero co od nich cała weselna d t u z b a w s t a ł a*; *Kochani w u j o s t w o p r z y s z l i d o n a s w o d w i e d z i n y*.

Специфика значения собирательности, особое отношение его к понятийной категории количества обуславливают ряд парадигматических (одночисловая парадигма, представленная формами ед. числа) и синтагматических (особенности лексико-грамматической сочетаемости и синтаксического функционирования) свойств данного типа существительных (подробнее об этом см. [2]). Именно эти факты дают основание определять собирательные существительные как лексико-грамматический разряд (ЛГР) в составе имени существительного как части речи. ЛГР собирательных существительных не является однородным, в его рамки входит несколько типов собирательных существительных, различающихся по типу формирования собирательного значения: 1) морфологически производные собирательные существительные (*студенчество, агентура, солдатня, duchowieństwo, oficeria, jedlina*), представляющие собой особую группировку в рамках ЛГР — словообразовательную категорию; 2) непроизводные собирательные существительные (*сбород, персонал, скот, люд, клер, hołota, barbaria, szlachta*); 3) семантически производные собирательные существительные, собирательное значение которых является результатом метонимического переноса (*молодость* в значении «молодежь», *канцелярия* в значении «служащие канцелярии», *bieda* в значении «ludzie niezamożni, biedacy», *dwor* в значении «panujący, magnat i jego otoczenie», *weterynaria* в значении «studenci weterynarii») <sup>2</sup>. Но при всех указанных различиях в формальных, структурных или функциональных характеристиках собирательных существительных основным при функционально-семантическом исследовании этой категории для нас является их общий признак — выражение значения собирательности во всех вышеуказанных семантических компонентах.

2. Однако, кроме собирательных существительных, возможен и другой способ реализации значения собирательности в славянских языках. Он выявляется при исследовании семантики грамматической категории числа. При анализе различных употреблений грамматических форм числа выделяются такие типы значений, которые по своим семантическим характеристикам приближаются к значению собирательных существительных и реализуют (хотя и особым образом) основные свойства собирательных понятий. Речь идет об обобщенно-собирательном значении форм единственного и множественного чисел.

В лингвистической литературе уделялось больше внимания специфике обобщенно-собирательного значения форм ед. числа, чем форм мн. числа. Следует указать, что не существует полного единства взглядов относительно объема этого типа значения. В ряде работ высказывается мнение, что следует различать такие два типа значения форм ед. числа, как родовое (*К и т — это млекопитающее*) и собирательное (*С т у д е н т т е п е р ь г р а м о т н ы й п о ш е л*). Согласно этой точке зрения, родовое значение служит отвлеченному представлению предмета и связано с обозначением характерных признаков, сущности целого класса без выделения составных его элементов [3, с. 159; 4, с. 20]. На наш взгляд, это определение не свидетельствует о том, что родовое значение не имеет связи со значением собирательности. Как уже упоминалось, «беспорные» собирательные существительные также могут передавать представление о классе предметов, их определенном типе (ср., например, анализ собирательных существительных

<sup>2</sup> В рамках последнего типа возможны как случаи устойчивого метонимического по своей природе собирательного значения, которое, как в приведенных примерах, является фактом лексической системы языка и фиксируется словарем, так и собирательное значение, являющееся результатом окказиональной реализации регулярной метонимической модели (например, *Вся пристань радостно приветствовала прибывший пароход; Czują to doskonale polska hierarchia kościelna i miała w tym drugi ważny powód usunięcia się od husyckiej sprawy*).

у М. Брауна [5] с выделением ряда подтипов — Gattungskollektive и др.). В связи с этим мы склопьяемся к точке зрения, согласно которой следует говорить о едином обобщенно-собирательном значении форм ед. числа [6; 7], причем, в одних случаях может усиливаться признак обобщенности, в других же при обозначении класса предметов формой ед. числа значение составленности, внутренней расчлененности класса предметов может быть выражено с большей степенью отчетливости.

При описании обобщенно-собирательного (или, как оно часто именуется, просто обобщенного) значения форм мн. числа внимание в основном сосредотачивалось на исследовании существительных определенных лексико-семантических группировок, в формах мн. числа которых обобщенно-собирательное значение реализуется наиболее часто и последовательно. Нам представляется, что такой подход затушевывает системный характер этого типа числового значения формы мн. числа и порождает иногда неверное представление, что на выполнение данной функции формой мн. числа накладываются лексические ограничения. Необходимо, тем не менее, иметь в виду, что хотя собственно любое считаемое имя нарицательное может быть использовано в форме мн. числа для передачи обобщенно-собирательного значения, существует ряд лексико-семантических группировок, для которых в польском и русском языках этот тип значения наиболее характерен — например, названия национальностей, семейств животных; ср. преимущественное использование формы мн. числа в качестве заглавий словарных и энциклопедических статей: Р у с с к и е — *восточно-славянская народность*; R у b у — *nazwa zbiorcza zmiennoscielnych kregowsciw wodnych*.

Следует отметить, что обобщенно-собирательное значение у форм ед. и мн. числа имеет одинаковую природу и связано с выполнением числовыми формами одной из содержательных функций грамматической категории числа, которую можно определить как «квалитативную». Данная функция свойственна этой категории наряду с функцией квалитативной актуализации имени и рядом других содержательных функций [8, с. 27—28]. Суть квалитативной функции грамматической категории числа состоит в том, что в ее рамках важна не актуализация количественных различий, а качественная характеристика самих понятий, называемых именем. Здесь мы имеем дело с обобщенной актуализацией имени, в объем значения которого входят все представители классов, рода, определенного лексическим значением имени существительного. Формы числа выполняют, таким образом, функцию выделения родовых понятий, обозначения классов предметов. Условием реализации обобщенно-собирательного значения числовых форм является определенный тип контекста; этот тип значения является позиционно обусловленным.

В обобщенно-собирательном значении форм числа выделяются все три основных семантических компонента, составляющих смысловое содержание собирательности (указание на множество; на его целостный характер; на качественную характеристику этого множества), хотя соотношение этих компонентов отличается от того их равнопланового соотношения, которое существует в семантике собирательных имен, где все семантические компоненты равноценны. При обозначении классов предметов формами грамматической категории числа на выражение значений, входящих в семантическое поле собирательности, влияет весь объем значений каждой грамматической формы во всех ее функциях, создающий особый фон для восприятия каждого употребления числовой формы.

На специфику отображения формой ед. числа класса предметов оказывают воздействие два основных фактора. Во-первых, форма ед. числа оформляет слово как номинативную единицу, отсюда ей присуще отображение класса предметов как такового. С точки зрения выраженности компонентов значения собирательности следует отметить, что при данном употреблении в значении числовой формы доминирующими компонентами являются указания на целостность и на качественное своеобразие класса предметов; сема множественности максимально ослаблена и может присутствовать лишь постольку, поскольку значение класса предполагает

полный охват всех элементов одного рода (например, *S o b a k a стала домашним животным еще с древнейших времен; Nadal jest modny meżczyzna tęski, a miarą tej tęskności są szerokie ramiona*). Во-вторых, форма ед. числа связана с выражением единичности, и обозначение класса предметов часто совмещается с указанием на каждый отдельный элемент этого класса (*Верный суворовским традициям, Давыдов с любовью и уважением относился к солдату; Tylko talentowi hetmanów i niezrównanemu męstwu i wyćwiczeniu żołnierza zawdzięcza Polska tak święte zwycięstwa*). В этом случае в обобщенно-собирательном значении форм ед. числа присутствует дополнительный семантический оттенок «репрезентативной собирательной единичности» [9, с. 110].

Форма мн. числа связана с выражением множественности, и поэтому класс предметов обозначается этой формой как совокупность его элементов [10, с. 30] (*Мой брат пошел в инженеры; Wośianu odlatują w zimie do ciepłych krajów*).

3. Наличие нескольких указанных способов передачи значения собирательности ставит перед нами вопрос о характере их взаимоотношений и взаимодействия в рамках языковой системы. Широкое изучение собирательности в ономаσιологическом плане (от понятия собирательности к средствам его языкового воплощения) свидетельствует о наличии в польском и русском языках функционально-семантической категории (ФСК) собирательности, являющейся результатом «языковой интерпретации» понятийной категории собирательности в языковых семантических функциях ряда языковых элементов.

Понятие ФСК, введенное в научный оборот А. В. Бондарко [11; 12], явилось результатом исследования морфологических категорий в широком контексте других языковых элементов, соотносимых по значению с данной морфологической категорией. В целом же исследования А. В. Бондарко находились в русле активно развивающегося лингвистического направления, для которого характерен интерес к структурно-функциональным свойствам языковых элементов с учетом взаимосвязи разных уровней языковой системы, явлений языковой полисемии и синонимии в широком смысле слова, с применением при анализе языковых единиц понятия «поля». Для обозначения комплексов взаимодействующих языковых средств, призванных выражать общие значения, применялись различные термины; грамматико-лексическое поле [13], функционально-инвариантные группы [14], грамматическое поле [15] и др. ФСК и родственные лингвистические понятия рассматриваются как особый тип организации, группировки и взаимодействия разнородных, разноуровневых языковых элементов, объединенных на основе общности выполняемых ими семантических функций. Выполнение общей функции обусловлено наличием у индивидуальных конститuentов категорий (лексических, грамматических, словообразовательных) общих семантических компонентов, формирующих план содержания ФСК. Конститuentы ФСК принадлежат к разным языковым уровням и поэтому неодинаково соотносятся с выражаемым ими общим понятием. Это обусловлено спецификой связи плана содержания и плана выражения каждого отдельного конститuenta ФСК, влиянием его общего семантико-функционального потенциала на выражение понятия, лежащего в основе ФСК, а также характером самого механизма выражения этого понятия. В данных свойствах проявляется обязательное и универсальное качество полевых структур (к которым относятся и ФСК) — дифференциация на центральные и периферийные элементы [16, с. 51].

Центр ФСК образуется при оптимальной концентрации всех совмещающихся в данной единице признаков; периферия же состоит из большего или меньшего числа образований разной емкости с некомплектным числом этих признаков, т. е. с отсутствием одного или нескольких из них, или при их измененной интенсивности и с факультативным наличием других признаков [16, с. 49—51]. Исследователи, изучающие разные типы ФСК (или грамматико-лексических полей) отмечают, что центральные элементы, или доминанта поля, должны быть элементами, наиболее специализи-



рованными для выражения данного значения, передающими его наиболее однозначно, систематически используемыми в этой функции [13, с. 10], а также должны характеризоваться максимальной функциональной нагрузкой [17, с. 216].

Различия в строении ФСК определяются типом ядра этой категории. Первоначально в качестве обязательного организующего центра ФСК рассматривалась морфологическая категория [11; 15]. В ходе дальнейшего анализа представления о свойствах ФСК и ее ядра изменялись и уточнялись. Так, было показано, что не является правомерным постулирование ФСК только на основе наличия ее морфологического ядра [14, с. 108]: в качестве доминанты, организующего центра ФСК могут выступать различные языковые элементы, относящиеся не только к морфологии, но и к лексике, словообразованию, синтаксису [13, с. 10]. С этой точки зрения изучение ФСК собирательности представляется особенно актуальным, так как данная разновидность ФСК еще не была предметом конкретного лингвистического анализа.

4. Собирательные существительные и грамматические формы числа с обобщенно-собирательным значением, обозначая в языке собирательные понятия, обозначая множества элементов как одно целое, характеризуются общностью выполняемых ими семантических функций и наличием инвариантных семантических признаков. На этой основе они взаимодействуют в языке и формируют ФСК собирательности. Категориальный инвариант для этой категории может быть представлен в качестве набора указанных выше семантических компонентов. Конституенты ФСК собирательности имеют лексическую (непроизводные и семантически мотивированные собирательные существительные), словообразовательную (морфологически производные собирательные существительные) и грамматическую (формы грамматической категории числа) природу. Но, так как в производных собирательных существительных значение собирательности в конечном счете передается лексемой в целом, то можно говорить, что основные различия между членами ФСК собирательности обусловлены общим различием между лексическими и грамматическими единицами.

Одно из основных различий между собирательными существительными и грамматическими формами числа с обобщенно-собирательным значением связано реализацией собирательного значения в тексте.

В собирательном существительном это значение входит в состав лексического значения слова, присуще ему как номинативной единице и выражается самостоятельно, независимо от контекстных условий. Для идентификации этого типа значения достаточен минимальный, не очень специализированный контекст даже в тех случаях, когда собирательное значение выступает в качестве лишь одного из лексико-семантических вариантов полисемичного слова (ср. разграничение отвлеченного и собирательного значений: *Учительство мое затянулось* — *Учительство взяло на себя повышенные обязательства*; *Zajmiję się d z i e n n i k a r s t w e m już od paru lat* — *Wszystcy razem więzi, jesteśmy d z i e n n i k a r s t w e m*). Признак самостоятельности ослабляется для тех существительных, собирательное значение которых является семантически мотивированным, особенно в тех случаях, когда мы имеем дело с результатом действия регулярных метонимических моделей, реализующихся только в конкретных высказываниях.

Для реализации обобщенно-собирательного значения числовых форм, как уже указывалось, необходим определенный тип контекстов, позволяющих отграничить данное значение от других значений форм категории числа. Формы числа с обобщенно-собирательным значением выступают в предложениях, сообщающих о постоянных свойствах объектов, об усредненных характеристиках ситуаций, содержащих обобщенные формулировки, взглядов, правил, предписаний: *Всякий критик должен быть публицистом*; *Как известно, русский человек на угощение необыкновенно падок*; *Поэтам следует печаль, а жизни следует разлука*; *Piszący na podstawie takiego poglądu historyk musi oczywiście wybierać niektóre tylko fakta*; *Dla Anglika najważniejszy jest honor*;

*Jak to się zdarza p s o m, nie znosił mundurów i zawsze rzucał się na listonosza.* При описании типов контекстов могут быть выделены их определенные формальные характеристики: 1) глагол часто употребляется в форме неактуального презенса, преимущественно используются глаголы несовершенного вида, часто употребление модальных глаголов, вводящих указание на наличие характерного свойства объекта; 2) используются (или могут быть подставлены) специализированные показатели обобщенности имени — квантификаторы *każdy, всякий, любой, все, każdy, wszelki, wszystkie*; 3) обобщенный характер высказывания выражается при помощи различных лексических средств, вводных слов и оборотов, указывающих на постоянность, привычность, обязательность и т. д. (*jak правило, всегда, как известно, jak to bywa, jak wiadomo*); 4) ограничена возможность детерминации имени (невозможно употребление определения конкретной принадлежности, актуализирующего указательного местоимения).

Перечисленные особенности контекстов характеризуют общие условия реализации формами грамматической категории числа качественной функции. Помимо этого, важно также учитывать индивидуальные свойства каждой числовой формы (ед. или мн. числа), влияние ее семантического объема на условия реализации обобщенно-собирательного значения и на характер функционирования этой формы в рамках предложения.

Для четкого выявления обобщенно-собирательного значения формы ед. числа важно снятие указания на единичность, что достигается употреблением в неактуальных, обобщающих контекстах либо использованием таких контекстных элементов, которые эксплицитно или имплицитно указывают на множественность объекта, обозначаемого формой ед. числа: *До самой революции издательство быстро росло и укреплялось, и писатель повалил к нам валом; Wśród ogólnej bezradności żołnierzy zaciężny, postawiony na straży Rusi, niepłatny rozchodził się rabując, a srogie najazdy Tatarów spustoszyły wschodnie dzielnice* (семантика глагола исключает отнесенность действия к единичному субъекту или объекту). Ср. также использование других лексических элементов: *По городу везде обьявлено; W powieści t r u p ściele się gęsto, a krew leje szerokim strumieniem.*

Для формы мн. числа необходим контекст, исключаящий возможность дистрибутивного восприятия множественности. Указание на целостный характер множества должно находить подкрепление в контексте: либо во всем строе предложения, сигнализирующего обобщенное восприятие имени, либо в отдельных его элементах. Так, если в предложении: *Люди пахали землю и выращивали хлеб* — возможно двойственное понимание значения формы мн. числа существительного *люди*: 1) эти, известные люди, о которых уже шла речь, 2) люди вообще, то только обобщенно-собирательное значение возможно в предложении *во все времена люди пахали землю и выращивали хлеб*, где контекст и прежде всего обстоятельство времени указывают на обобщенную актуализацию имени.

Таким образом, важное различие между членами ФСК собирательности состоит в степени зависимости от определенной позиции в тексте.

5. Существенным при оценке места (центрального или периферийного) единиц в рамках ФСК является определение регулярности, частотности использования их для реализации общей семантической функции, в нашем случае, значения собирательности.

ЛГР собирательных существительных в польском и русском языках представляет собой довольно замкнутую группировку. Это обусловливается рядом причин. Во-первых, неизменяемые собирательные существительные являются уже устоявшейся группой в составе лексики языка, их количество ограничено. Во-вторых, выражение значения собирательности при помощи словообразовательных средств (морфологически производные собирательные существительные) характеризуется ограниченностью, что связано с непродуктивным в целом характером

словообразовательной категории собирательности. Продуктивным средством пополнения ЛГР собирательных существительных является семантический способ образования собирательных наименований, т. е. формирование собирательного значения на основе метонимического переноса. Но и этот способ в конечном счете имеет свои границы, так как существует определенное, конечное число типов переносов, дающих в результате обозначение совокупностей, целостных множеств лиц или предметов. Таким образом, не существует возможности обозначить произвольно избранную совокупность при помощи собирательного существительного.

Числовые же формы с обобщенно-собирательным значением в силу своей грамматической природы, а следовательно, присущего им свойства регулярности и обязательности, не имеют ограничений в области формообразования, поэтому могут быть свободно использованы для обозначения собирательного множества (конечно, с учетом тех контекстных ограничений, которые были отмечены выше); при отсутствии лексем с собирательным значением они способны служить своего рода восполнителями соответствующего пробела.

Необходимо также учитывать, что большой процент собирательных существительных является словами устаревшими, стилистически окрашенными, что также накладывает ограничения на свободу их употребления в тексте и расширяет сферу применения других средств выражения значения собирательности.

6. Анализ семантической специфики членов ФСК собирательности, особенностей их образования и функционального взаимодействия, а также сопоставление этих данных с признаками, положенными в основу дифференциации конститuentов ФСК на центральные и периферийные, приводит нас к выводу, что центр ФСК собирательности составляет ЛГР собирательных существительных. Его центральное положение обуславливается тем, что собирательные существительные являются наиболее специализированным средством выражения значения собирательности, так как: 1) они передают это значение самостоятельно, независимо от контекста; 2) выражение значения собирательности для этих существительных является основной функцией, т. е. можно говорить о наиболее однозначном выражении категориального значения; 3) собирательным существительным присущ наиболее полный охват в рамках лексического значения всех семантических компонентов, которые лежат в основе значения собирательности как ФСК.

Выражение же значения собирательности формами грамматической категории числа является позиционно обусловленным. Функция обозначения родовых понятий, классов предметов не является основной функцией категории числа, а присуща ей наряду с функцией квантитивной актуализации и рядом других содержательных функций. При выражении значения собирательности формами числа наблюдается доминирование отдельных семантических компонентов значения собирательности, а также выражение дополнительных семантических оттенков (например, для формы ед. числа — оттенок репрезентативной собирательной единичности). Эти факты обуславливают периферийное положение числовых форм в структуре ФСК собирательности.

В отличие от подробно исследованных ранее ФСК (аспектуальность и темпоральность у А. В. Бондарко, грамматико-лексическое поле множественности и др. у Е. В. Гулыга и Е. И. Шендельс), ФСК собирательности имеет «неграмматизованное» ядро, что обуславливает ряд специфических свойств этой категории, относящихся в первую очередь к области взаимодействия и функционирования ее конститuentов. Во-первых, ЛГР собирательных существительных, рассматриваемый нами как целостная группировка и единый конститuent ФСК, не представляет гомогенного образования с точки зрения структурных особенностей его элементов (дифференциация на производные и непроизводные) и с точки зрения выражения собирательного значения (собирательное значение как часть семантической структуры лексемы, гебр. собирательное зна-

чение как результат окказионального употребления слова в определенном контексте). В связи с этим «ядерные», «центральные» характеристики этого ЛГР в разной мере присущи отдельным подгруппам собирательных существительных, что определяет концентрическое строение ядра ФСК собирательности, в котором особое место занимают морфологически производные собирательные существительные. Их важной характеристикой с этой точки зрения является то, что свойственная общему значению собирательности членимость на семантические компоненты соответствует расчлененности структуры производных собирательных существительных. Семантические компоненты находят, таким образом, в морфологически производных собирательных существительных формальное выражение: значение совокупности связывается с формантом, значение качественной характеристики элементов совокупности — с производящей основой. В морфологически производных собирательных существительных в наибольшей степени проявляются «ядерные» свойства ЛГР собирательности — однозначность, полнота и специализированность передачи значения собирательности, в связи с чем их можно было бы определить как «ядро ядра» ФСК собирательности.

Вторая отличительная черта ФСК собирательности по сравнению с ФСК, имеющими грамматикализованное ядро, связана с общим характером ЛГР, с отсутствием единообразия и регулярности выражения в его рамках значения собирательности. Она состоит в том, что центральные элементы ФСК — собирательные существительные — не занимают функционально доминирующего положения среди членов ФСК. Регулярность формообразования в грамматической категории числа является причиной сдвига функциональной доминанты в ФСК собирательности в польском и русском языках в сторону периферийных в семантическом отношении членов — форм ед. и мн. числа с обобщенно-собирательным значением, которые часто используются для восполнения недостатка в готовых собирательных лексемах или замещения функционально маркированных собирательных существительных. Ближе всего к ядру категории оказываются формы мн. числа, часто выступающие в качестве полных синонимов собирательных существительных (например, *Одновременно с усложнением религии и развитием ритуала оформляются и жрецы, которое тоже делится по специальностям. Появляются жрецы для совершения молитв, гаданий; Osobiście dokonują podziału na a k t o r s t w o dobre i złe. Dobrzy a k t o r z y bliższą i cieszą się powszechną popularnością, źli — pracują krótko i szybko są zapomniani*). Случаи полной синонимии между собирательным существительным и формой ед. числа при обозначении классов, родов определенных объектов более редки. Для этих членов ФСК более характерна частичная семантическая дифференциация, что объясняется тем, что собирательные существительные и формы ед. числа с обобщенно-собирательным значением могут включать несоотносимые друг с другом дополнительные семантические компоненты. Обобщенно-собирательное значение ед. числа включает оттенок собирательной единичности (см. выше), собирательное же существительное, обозначая множество элементов как единое целое, как особое объединение, может обладать дополнительным семантическим оттенком, указывающим на специфические характеристики самой совокупности. Ср. соотношение слов *человек* и *человечество* в следующем предложении: *Аптекарьский подход к человечеству — точнее сказать, к человеку — длился десятилетиями, нет ничего удобнее готовых формул. Здесь к человеку имеет значение «к каждому человеку, человеку вообще, к людям»; слово же человечество обозначает не просто человека вообще, род людей как таковой, а людей как особое объединение, предполагающее определенные отношения (социальные, биологические, этические) между его элементами, обозначает человеческое общество.*

При всех указанных расхождениях и различиях для характеристики членов ФСК собирательности гораздо большую значимость имеет их семантическая близость. Она определяет наличие у членов ФСК общих

свойств, которые обуславливаются самой природой категории собирательности. Так, грамматические средства выражения собирательности, занимающие периферийное положение в ФСК, подчиняются тем же семантико-грамматическим и функциональным закономерностям, которые свойственны и ядру этой категории. К ним относится, например, изменение парадигматических связей данных грамматических форм. Формы ед. числа с обобщенно-собирательным значением не имеют соотносительной формы мн. числа, подобно тому, как собирательные существительные имеют только одночисловую парадигму. Связь с формами мн. числа с обобщенно-собирательным значением не имеет противопоставительного характера, они соотносятся как средства выражения одного категориального значения. Формы ед. числа с обобщенно-собирательным значением относятся к формам ед. числа со значением единичности и формам мн. числа со значением разделительной множественности так же, как морфологически производные собирательные существительные — к формам ед. и мн. числа мотивирующих их слов. Соотношение форм мн., числа с обобщенно-собирательным значением и форм ед. числа со значением единичности также не имеет квантитативного характера, а сводится к различию между обозначением совокупности и отдельного входящего в нее элемента.

Помимо этого, формы числа с обобщенно-собирательным значением приобретают особые синтаксические функции и синтагматические связи, обусловленные выражением компонентов значения собирательности. Например, для русского языка типична особая конструкция «из + род. п. мн. числа» с определительно-выделительным значением (*лакеи из крепостных, студенты из крестьян*); фразеологизированная синтаксическая конструкция «идти/выйти + в + вин. п. мн. числа», характеризующая лицо по профессии или происхождению (*Токарев шагнул из солдат в главные механики*); возможность неопределенно-количественной квантификации (*Я изнемог брата много перестрелял*); возможность употребления в устойчивых словосочетаниях с количественным значением (*широкий читатель, массовый зритель*). Польский язык не допускает неопределенно-количественной квантификации форм числа с обобщенно-собирательным значением, но, с другой стороны, в польском языке встречаются случаи — правда, ограниченные лексически и имеющие по большей части устаревший характер — конкретно-количественной квантификации формы ед. числа, что невозможно в русском языке: *Cesarz turecki w siedemdziesiąt tysięcy żołnierzy uderzył na Ruś*.

Приведенными и некоторыми другими фактами определяется возможность говорить о взаимодействии разноуровневых языковых средств на семантико-функциональной основе как об определенной системе, как о ФСК.

Проанализированные свойства ФСК собирательности в польском и русском языках, прежде всего лексико-грамматический характер ядра и особое соотношение между центральными и периферийными элементами ФСК, обуславливающие отсутствие единой функционально-семантической доминанты в рамках категории, позволяют рассматривать ФСК собирательности как особую разновидность ФСК, что дополняет и уточняет существующие представления об общих свойствах конститuentов ФСК и в целом о природе и характеристиках ФСК как типа группировки и динамического взаимодействия языковых элементов.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Миськевич Г. И. Употребление собирательных существительных в современном русском литературном языке. — Русский язык в школе, 1970, № 3.
2. Лешкова О. О. О функционировании собирательных существительных (на материале польского и русского языка). — Вестник МГУ, серия 9. Филология, 1983, № 3.
3. Виноградов В. В. Русский язык. М. — Л., 1947.
4. Новиков Л. А. Природа числа существительных и его стилистические функции. — Русский язык в школе, 1959, № 5.

5. *Грамм М.* Das Kollektivum und das Pluraletantum im Russischen. Leipzig, 1930.
6. *Прокопович Н. Е.* Употребление в литературном языке существительных с обобщенно-собирательным значением.— Русский язык в школе, 1966, № 4.
7. Русская грамматика. М., 1980.
8. *Канцельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
9. *Бондарко А. В.* Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.
10. *Смирницкий А. И.* Лексическое и грамматическое в слове.— В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955.
11. *Бондарко А. В.* К проблематике функционально-семантических категорий.— Вопросы языкознания, 1967, № 2.
12. *Бондарко А. В.* Грамматическая категория и контекст. Л., 1974.
13. *Гулыга Е. В., Шендельс Е. И.* Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. М., 1969.
14. *Шур Г. С.* Теория поля в лингвистике. М., 1974.
15. *Гухман М. М.* Единицы анализа словоизменительной системы и понятие поля.— В кн.: Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971.
16. *Адмони В. Г.* Основы теории грамматики. М.— Л., 1964.
17. *Бондарко А. В.* Теория морфологических категорий. Л., 1976.



## ПОЛЬСКО-СОВЕТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК (1971—1975)

В рассматриваемые годы продолжалось и получило дальнейшее развитие сотрудничество между польскими и советскими обществоведами. Оно осуществлялось в соответствии с протоколами о сотрудничестве между Польской Академией наук (ПАН) и Академией наук (АН) СССР и другими польскими и советскими научными учреждениями и высшими учебными заведениями.

В рамках этого сотрудничества большое внимание уделялось разработке проблем исторической науки, представляющих интерес для обеих сторон. Одной из важных работ была публикация документов и материалов по истории польско-советских отношений. С польской стороны в ней участвовали Институт социалистических стран ПАН, Высшая школа общественных наук при ЦК ПОРП, Департамент архива МИД ПНР и Главная дирекция государственных архивов ПНР, с советской стороны — Институт славяноведения и балканистики АН СССР, Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Историко-дипломатическое управление МИД СССР и Главное архивное управление при Совете Министров СССР.

В эти годы была завершена работа над VII, VIII и IX томами «Документов и материалов по истории польско-советских отношений». Том VII содержит документы о польско-советских отношениях в 1939—1943 гг. (вышел в свет в 1973 г.), том VIII охватывает 1944—1945 гг. (1974), том IX посвящен 1946—1949 гг. (1976). В них раскрываются отношения между обеими странами, боевое сотрудничество польского и советского народов в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, помощь Советского Союза Польше в восстановлении и развитии народного хозяйства и культуры. Это польско-советское издание имеет большое научное и политическое значение. Оно дает объективное и всестороннее представление о взаимоотношениях СССР и Польши на важных этапах их исторического развития.

Была начата совместная работа Института социалистических стран ПАН и Института славяноведения и балканистики АН СССР по подготовке «Очерков истории польско-советских отношений. 1917—1977».

Институтом истории ПАН совместно с Институтом славяноведения и балканистики АН СССР и Институтом всеобщей истории АН СССР разрабатывалась проблема «Фашизм и антидемократические режимы в Европе. Начало 20-х годов — 1945 г.». В 1975 г. в Варшаве состоялся коллоквиум по этой проблеме. Материалы его были опубликованы в издании «Dzieje najnowsze» (1978, № 1).

Наряду с этим Институт истории ПАН и Институт славяноведения и балканистики АН СССР совместно с архивными учреждениями продолжали публикацию документов и материалов по истории польского

восстания 1863 г. Было предпринято издание серии «Польское общественное движение и культурная жизнь 30—50-х годов XIX века. Исследования и материалы». Первый том этой серии «Содружество польского народа в Королевстве Польском. Густав Эренберг и „свентокшижцы“» издан в 1978 г.

Плодотворным было также сотрудничество между Институтом материальной культуры ПАН и Институтами археологии и этнографии АН СССР. Исследовались проблемы происхождения славян, этнокультурных связей, древнейшей истории славянства. Польские археологи участвовали в раскопках в Крыму, давших ценные материалы для науки. Научные командировки в СССР позволили польским молодым ученым подготовить ряд диссертационных работ.

Лаборатория социальных и культурных проблем современной Африки ПАН приняла участие в труде Института Африки АН СССР «История, социология, культура народов Африки», (в котором опубликованы исследования польских ученых.

Важное место в сотрудничестве польских и советских историков занимала деятельность Комиссии историков СССР и ПНР, созданной в 1965 г. Польскую часть Комиссии до 1972 г. возглавлял проф. Г. Ловмянский, с 1972 г. председателем ее является проф. Л. Базылёв. Советскую часть возглавляет акад. Б. А. Рыбаков.

Комиссия проводила научные конференции, на которых обсуждались важные проблемы истории народов Польши и СССР и их взаимоотношений. На конференции в Москве (1971) рассматривались общие черты и особенности развития Польши и Руси в XII—XIV вв., в Варшаве (1972) — польско-советские отношения в 1917—1939 гг. Предметом внимания Комиссии на заседании в Ленинграде (1973) являлись культурные связи народов Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения. Конференция в Катовицах (1974) была посвящена вопросам индустриализации СССР и народной Польши, в Сухуми (1975) — политическим отношениям стран Восточной Европы и бассейна Черного моря в последней четверти XV в. до начала XVIII в. [1]. Материалы конференций были опубликованы в специальных изданиях [2].

Постановка этих проблем Комиссией способствовала разработке ряда малоизученных вопросов истории обеих стран и их взаимоотношений, подведению итогов исследований, выработке общей точки зрения по некоторым дискуссионным вопросам. Сотрудничество польских и советских историков в рамках Комиссии в значительной мере обогатило знания об историческом развитии братских народов, стало одной из важных форм связей и взаимодействия польской и советской исторической науки.

В научных мероприятиях, посвященных юбилейным датам в Польше, участвовали советские историки, а в СССР — польские ученые: по случаю 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 30-летия ПНР и польско-советского договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, 200-летия создания Эдукационной комиссии, 100-летия основания Польской академии знаний в Кракове, 50-летия образования Союза ССР и других важных событий в истории ПНР и СССР.

В связи с выполнением совместных работ, участием в научных конференциях и командировках по индивидуальным темам в 1971—1974 гг. в СССР побывало 216 польских историков, а в Польше — 295 советских ученых.

В советских сборниках («Советско-польские отношения. 1918—1945 гг.» и др.) и в журналах «Вопросы истории», «Советское славяноведение», «Украинский исторический журнал», «Советская археология», «Вестник древней истории», «Средние века» и других публиковались статьи польских ученых, а в польских изданиях «Kwartalnik Historyczny», «Historia Kultury materialnej», «Archeologia Polska» и других — работы советских историков. Историки двух стран активно участвовали в работе международной проблемной комиссии по истории Великой Октябрьской социалистической революции. Были проведены симпозиумы на тему «Великий Октябрь и революции 40-х годов в странах Центральной и Юго-



Восточной Европы» (1973 г., Варшава) и научные конференции в Лодзи и Тбилиси (1975), посвященные первой русской революции.

Развивалось сотрудничество польских и советских философов и социологов. В 1972 г. была образована Польско-Советская комиссия по вопросам философии и социологии. Институт философии и социологии ПАН вместе с Институтом философии АН СССР и Институтом социологических исследований АН СССР координировали и проводили исследования по важным проблемам марксистско-ленинской философии и социологии. Разрабатывались вопросы теории познания, личности, гуманизма, эстетики, религии, истории философии, социальной структуры. Результатом этого явились труды: «Ленинизм в современной философии и социологии», «Актуальные проблемы борьбы с антикоммунизмом», «Научно-техническая революция и изменение социальной структуры социалистического общества», «История марксистско-ленинской социологии в социалистических странах», «Активность личности в социалистическом обществе», «Проблемы развития социальной структуры общества в Советском Союзе и Польше».

Были проведены научные конференции и встречи, на которых рассматривались актуальные вопросы марксистско-ленинской философии и социологии, критики буржуазных и реформистских концепций. В Советском Союзе был издан ряд работ польских ученых, в Польше — советских философов и социологов. В специальном номере журнала «Studia filozoficzne» (1972, № 3—4) опубликованы статьи советских ученых о философской мысли в СССР, а в специальном номере «Вопросы философии» (1973, № 5) — работы польских философов и социологов.

Осуществлялись связи и сотрудничество между Институтом правовых наук ПАН и Институтом государства и права АН СССР. Велась работа по общим темам, происходил обмен научной информацией, практиковались научные командировки специалистов. На совместных конференциях рассматривались проблемы государства и права социалистических стран, развития социалистической демократии, избирательного права и другие. Были подготовлены совместные работы «Социалистическое государство, право и научно-техническая революция» (1975), «Социализм и демократия» (1976), «Аппарат управления в социалистическом государстве» (1976), сборник статей «Планирование и управление народным хозяйством в странах социализма на современном этапе (правовые аспекты)» (1976), монография «Развитие местных органов власти в социалистических государствах» (1977 г.).

Важное значение имели контакты и сотрудничество польских и советских ученых в области экономических наук. Институт основных проблем экономики ПАН и Институт экономики мировой социалистической системы АН СССР вели совместные исследования по темам: «Теоретическое обобщение опыта развития мировой социалистической системы и международных отношений», «Влияние научно-технической революции на социалистическую экономическую интеграцию», «Научные основы развития хозяйственного строительства в приграничных районах СССР и ПНР», «Проблемы формирования социалистического образа жизни». Созданная в 1973 г. Комиссия экономистов СССР и ПНР сосредоточила внимание на исследовании этапов развития социалистического способа производства с учетом строительства развитого социализма, системы управления народным хозяйством, социалистического образа жизни и демографической политики. Велась подготовка совместных трудов «Социалистическая экономическая интеграция», «Перспективные изменения в структуре использования ресурсов в Польше», «Критика буржуазных и ревизионистских теорий».

Институт литературных исследований ПАН сотрудничал с Институтом славяноведения и балканистики АН СССР и Институтом мировой литературы АН СССР в изучении закономерностей развития мировой литературы, взаимовлияния национальных литератур, польско-русских и польско-советских литературных связей. Были проведены конференции, посвященные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (1970, Варшава),

революционному писателю В. Броневскому (1972, Варшава), а также проблемам «Романтизм в польской литературе и ее связи с восточнославянской литературой» (1972, Москва), «Революционные традиции и современный этап в развитии литератур европейских социалистических стран» (1974, Москва), «Польская и русская литература рубежа XIX—XX вв.» (1974, Варшава).

В 1975 г. вышел сборник статей «Современная литературная критика европейских социалистических стран», в котором наряду с советскими, немецкими, болгарскими литературоведами выступили польские ученые.

В том же году увидела свет совместная работа Института славяноведения ПАН и Института славяноведения и балканистики АН СССР «Славянские литературы о второй мировой войне», изданная в Варшаве. Опубликованные в первой половине 1970-х годов польскими литературоведами и критиками статьи по проблемам польской литературы и ее связей с русской советской литературой были объединены в сборник «Поиски и перспективы: литературно-художественная критика в ПНР» и в 1978 г. вышли в СССР в серии «Литературно-художественная критика в странах социализма». Примечательной особенностью сборника является обращение его авторов к размышлениям советских филологов о судьбах социалистического реализма, подчеркивание принципиального значения для развития польской литературно-критической мысли статей и высказываний В. И. Ленина по вопросам искусства и культуры.

Стали своего рода традицией польско-советские научные симпозиумы искусствоведов. В сентябре 1973 г. в Москве состоялся третий симпозиум, посвященный анализу художественных процессов в польском и русском искусстве рубежа XIX и XX вв., а в мае 1974 г. — четвертый, прошедший в Варшаве. Его организаторами являлись Институт истории искусства Министерства культуры СССР, Комиссия историков СССР и ПНР и Институт искусств ПАН. Были доложены результаты исследований, которые проводились параллельно, на материале собственного отечественного искусства, что позволяло рассматривать некоторые проблемы как бы с двух сторон, уяснить вклад искусства рубежа веков в национальные традиции каждой страны, выявить роль национальных художественных школ в общеевропейском процессе.

Успешно развивалось и сотрудничество польских и советских лингвистов. Польские ученые участвовали в подготовке Общеславянского атласа, атласа диалектов на территории Белоруссии, Центральной части РСФСР и Украины, советские лингвисты — в работе над диалектологическим атласом польского языка. Эти данные (далеко не полные) свидетельствуют, однако, о значительных масштабах сотрудничества польских и советских ученых в области общественных наук, взаимовыгодном обмене научными достижениями и успешной совместной работе по исследованию актуальных научных проблем.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Вышомирская-Кузьминьская О.* Научная конференция Комиссии историков ПНР и СССР.— Советское славяноведение, 1981, № 3, с. 13.
2. *Stosunki polsko-radzieckie 1917—1939. Materiały sesji naukowej.* Warszawa, 1973; Польша и Русь. М., 1974; *Osiągnięcia socjalistycznej industrializacji ZSSR i Polski Ludowej.* Warszawa, 1975; Россия и Польша и Причерноморье в XV—XVIII вв. М., 1979.



АКИНФИЕВ А.

## ТОДОР БУРМОВ — БОЛГАРСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ

XIX век в истории Болгарии дал ряд видных деятелей, боровшихся за освобождение страны от духовного гнета греческой патриархии, политического ига Османской империи и ставших у руля управления вновь созданного после освободительной войны 1877—1878 гг. болгарского государства. Эти люди происходили из разных слоев общества, имели разное образование и ориентировались на разные методы решения основных задач, стоявших перед болгарской нацией. Но они делали все, на что были способны, ради освобождения народа, становления независимого болгарского государства. Одним из таких деятелей был Тодор Стоянов Бурмов, 150 лет со дня рождения которого исполнилось в январе 1984 г.

О Т. Бурмове специально в болгарской исторической литературе написано очень мало. Можно отметить только брошюру-панегирик, опубликованную в 1943 г. журналистом П. Пеевым [1], и недавно вышедшую статью С. Дойнова [2]. В то же время отдельные эпизодические упоминания о Бурмове встречаются во многих общих трудах, монографиях и исследовательских статьях, посвященных периоду Возрождения и освобождения Болгарии от османского ига. В русской и советской литературе специальных работ о Бурмове не существует.

Тодор Бурмов родился 2 января 1834 г. в селе Нова Махала недалеко от г. Габрово (ныне квартал Габрово). Начальное образование получил в местной сельской школе, затем учился в Габровской и в селе Енина Казанлыкского округа. Как лучший ученик он послан для продолжения образования в Россию. После непродолжительного пребывания в Одессе Т. Бурмов в составе группы болгарских юношей 10 октября 1847 г. приехал в Киев, где был определен в Киево-Подольское духовное училище, подготавливающее к поступлению в семинарию. В октябре 1849 г. Т. Бурмов с тремя другими болгарскими воспитанниками был зачислен в семинарию. Летом 1851 г. семинаристы Т. Бурмов и Х. Христович обратились к попечителям Габровской школы одесским торговцам Н. Палаузову и М. Милованову с просьбой о пособии как для облегчения их нужд до окончания курса, так и на приобретение книг, необходимых им для преподавательской должности, к которой они готовились. Одесские купцы согласились оказывать помощь киевским воспитанникам на следующих условиях: последние должны были после окончания учебы учительствовать в Габрово, взять на себя обязательства не увольняться с этой работы без разрешения попечителей и постепенно возратить затраченные на них суммы. Бурмов и Христович, испытывая нужду, приняли условия, после чего стали получать по 60 рублей серебром в год [3, с. 86].

19 августа 1853 г., после четырехлетней учебы в семинарии, Т. Бурмов подал в правление Киевской духовной академии «прошение о дозволении явиться на приемные испытания». В аттестате у него оценки были

только «очень», «весьма» и «отлично хорошие»). Семинарское начальство характеризовало Т. Бурмова следующим образом: «при очень хороших способностях и ревностном прилежании он может продолжать учение в академии, и не без успеха, не без пользы, хотя и не окончил полного курса семинарии» [4]. С 1853 г. он учился в академии, которую успешно закончил в 1857 г. Как лучшему студенту ему была оказана честь произнести от имени выпускников благодарственную речь преподавателям [1, с. 33]. Перед возвращением в Болгарию он подал прошение в правление академии (которое было удовлетворено) о выдаче ему денег для приобретения «некоторых из самых необходимых книг» [5].

За время учебы в академии Бурмов проявил интерес к истории своего народа. Его кандидатское сочинение называлось «О начале и утверждении христианства в Болгарии». Он опубликовал свою работу с немного измененным названием сначала в России [6], а позднее на страницах издававшегося в Константинополе болгарского журнала «Български книжици» [7]. Это не столько богословское сочинение, сколько исторический очерк, охватывающий значительный и важный период истории Болгарии — с начала истории болгарского народа и до конца царствования Симеона. Конечно, ряд положений из работы Бурмова уже пересмотрен исторической наукой, но для своего времени она носила прогрессивный характер хотя бы уже потому, что рассматривала период становления и возвышения болгарского государства, расцвет его культуры. Тем самым она содействовала росту национального самосознания болгарского народа в период его возрождения. Сочинение Бурмова интересно и в историографическом плане, так как крупнейшие труды болгарских историков по этой проблеме (например, Марина Дринова) появились позже. Ценность работы Бурмова определяется еще и тем, что в ней использовано большое количество источников (трудов древних авторов) и произведения виднейших историков его времени.

Кандидатская работа Т. Бурмова для нас интересна прежде всего в связи с развитием церковного вопроса в Болгарии. Примечательно время ее опубликования: это был период, когда остро встал вопрос о пропаганде католической унии. Бурмов много внимания уделил борьбе между восточной православной церковью и римской католической, победе первой над второй в болгарских землях. По существу его сочинение было направлено против попыток униатов насадить католическую веру в Болгарии. Обращение Бурмова к прошлому преследовало цели, стоявшие перед настоящим болгарского народа. Он касался не только выбора вероисповедания, этот вопрос встал на повестку дня в связи с борьбой болгар за самостоятельную церковь и нежеланием константинопольской патриархии предоставить им это право, но и с попытками западных держав насадить католичество. Бурмов затрагивал также, правда попутно, и основную причину бедствий народа — их политическое положение. Именно эту связь с современностью имел в виду и сам Бурмов, когда выражал надежду, что его сочинение может быть «сколько-нибудь удовлетворит, не говорим требованиям науки, а нуждам болгарского народа» [6, № 1, с. 144].

Касаясь политического положения, он основное внимание обращает на духовный упадок болгарского народа в это время по сравнению со временем принятия болгарями христианства и последующим периодом, вплоть до покорения их турками. «Вообще Болгария, — писал ученый, — была в древние времена для России почти тем же, чем ныне сия последняя для Болгарии. Когда во времена междоусобных войн и господства татар образование гибло в России, болгары посылали ей в сии тяжкие времена просвещенных мужей, наделяли ее своими книжными сокровищами, чтобы поддерживать его сколько возможно. Ныне, когда древнее образование Болгарии истреблено рукою читателей Алкорана, болгары, соревнуя своим северным братьям, сделавшим уже большие успехи в науках и искусствах, обращаются к ним, дабы перенять от них это просвещение...» [6, № 3, с. 309]. Условия для нового подъема духовной жизни болгарского народа он видел в неразрывной связи с Россией и ее культурой.

Пророссийская ориентация Бурмова отражала умонастроения подавляющего большинства болгарских студентов, обучавшихся в России. Несомненно, сказалось его десятилетнее пребывание в Киеве, формирование его взглядов под влиянием того окружения, в котором он находился. Это проявлялось и во всей его дальнейшей деятельности, в том числе и в публицистике.

По возвращении в Болгарию Т. Бурмов с 14 октября 1857 г. по 1860 г. работал учителем в Габровской школе, где показал себя с самой лучшей стороны как педагог и воспитатель. Имея хорошую подготовку, он ввел ряд новых дисциплин (болгарский язык, история), более совершенные методы обучения, сумел повысить общий уровень преподавания.

Все это привело к росту популярности Т. Бурмова и к расцвету Габровской школы. С его именем связано и начало жепского образования в Габрово. При участии Бурмова в городе было открыто женское классное училище с шестилетним обучением, куда были приглашены образованные учителя [1, с. 41—42; 3, с. 87—88]. За период пребывания в Габрово Бурмов проявил себя как деятель просвещения широкого профиля — сторонник развития национальной болгарской культуры, распространения образования среди народных масс.

В 1858—1859 гг. он начинает заниматься журналистикой, публикует свои статьи в болгарских периодических изданиях, выходящих в Константинополе. В 1860 г. Бурмов переезжает в Константинополь и включается в борьбу за независимую болгарскую церковь [2]. Это было время, когда наступал решающий период в борьбе болгар за национальную церковь. Болгарская буржуазная нация утверждалась не только на поприще просвещения и культуры, но и в стремлении к созданию самостоятельной церкви. Поскольку церковный вопрос был тесно связан с национальным, требование самостоятельности болгарской церкви было глубоко прогрессивным. Как отмечал В. И. Ленин, «...выступление политического протеста под религиозной оболочкой есть явление, свойственное всем народам на известной стадии их развития...» [8].

Борьбу за самостоятельную церковь возглавила новая общественная сила, оформившаяся в стране, — представители болгарской буржуазии. Но активное участие в ней принимали также крестьяне и ремесленники, которые придали ей массовый, народный характер и тем ускорили решение церковного вопроса. «Церковная борьба, — пишет Д. Благоев, — стала национально-политической борьбой не только потому, что она ставила целью добиться признания болгарской национальности в Турции, но и потому, что в нее была вовлечена вся болгарская нация ... во главе борьбы стоял растущий буржуазный класс, он руководил борьбой, он двигал ее вперед, он увлекал за собой массы» [9].

В Константинополе Бурмов начинает сотрудничать сначала в газете «Цариградски вестник»; вскоре, в том же 1860 г., он становится редактором журнала «Български книжици», выходявшего два раза в месяц. Основной задачей журнала было «распространение науки, любви к образованию» [10]. Особое внимание уделялось церковному вопросу. Одно время, когда церковная борьба вступила в свою решающую фазу, «Български книжици» был единственным периодическим изданием, которое поддерживало требования болгарского народа, направленные на достижение независимости болгарской церкви. Журнал вел последовательную борьбу против унии с католической церковью и газеты «България», вокруг которой объединялись сторонники унии [11]. Роль Т. Бурмова была отмечена Л. Каравеловым, который писал, что Бурмов «дал журналу лучшее направление» и выражал сожаление, что в 1862 г. он должен был по разным обстоятельствам отойти от редактирования журнала [12].

Авторитет Т. Бурмова в болгарских национально-патриотических кругах в ходе борьбы за независимую болгарскую церковь значительно вырос. Одним из свидетельств признания его роли в качестве известного болгарского общественного деятеля является включение его в комиссию, составленную турецким правительством из пяти греков и пяти болгар

(под председательством великого везира Али-паши) для обсуждения греко-болгарского церковного вопроса [3, с. 91].

Как и в первые годы после приезда в Константинополь, основной сферой деятельности Т. Бурмова в середине 60-х годов была журналистика. Он принимает активное участие в редактировании выходящих в эти годы болгарских периодических изданий. В 1863—1864 гг. Бурмов — заместитель редактора, а затем и редактор газеты «Съветник». В 1865—1867 гг. он редактирует издававшийся в Константинополе на болгарском языке при содействии русского посольства журнал «Време». Русская дипломатия поддерживала стремление болгар добиться известной автономии в церковных делах (право вести богослужение на родном языке и т. д.); в то же время правительство России пыталось предотвратить полный разрыв болгарской церкви с греческой патриархией в Константинополе. Отсюда и исходили советы русских дипломатов связанным с ними болгарским деятелям выдвигать умеренные требования и действовать постепенно [13, ф. 231, Пог./II, д. 31, ед. хр. 56, л. 141].

Тодор Бурмов принадлежал к болгарским буржуазным кругам, в которых считали, что только в союзе с Россией, опираясь на помощь и содействие русского государства, болгары смогут добиться в той или иной форме независимости. С этим и была связана тактическая линия Бурмова и редактируемого им журнала. Будучи редактором журнала «Време», Бурмов, видимо, устанавливает более тесные контакты с русскими дипломатами. После прекращения издания Т. Бурмов становится переводчиком (драгоманом) русского посольства в Константинополе, сотрудником новой русской больницы в османской столице. Одновременно он пишет брошюры, которые печатались в Бухаресте [13, ф. 231, Пог./II, д. 31, ед. хр. 56, л. 141]. Две из них — «Братское объяснение болгарина братьям болгарам» и «Проект Вселенской патриархии о решении болгарского вопроса» — получили широкий отклик в России. В газете «Москва» им были посвящены пространные отзывы [14]. Несмотря на то, что эти работы Бурмова были изданы анонимно, стало известно его авторство [15]. О его общественной деятельности, связях с болгарскими патриотическими кругами в этот период в нашем распоряжении пока мало сведений. Есть данные, что он входил в состав русско-болгарского комитета, в котором главную роль играл врач русского посольства Караконовский, а активными членами были Лавско Оглу (?), Леонтьев, Н. Геров. Они собирались на улице Дервели в доме № 15. Вряд ли это был комитет, стремившийся подготовить восстание в Болгарии весной 1867 г., как о нем доносили французские агенты [16].

Стесненное материальное положение побуждало Бурмова искать штатной должности при посольстве. Он старался также получить русское подданство, чтобы оградить себя от преследований со стороны султанской полиции. Русское подданство он получил, судя по его письму к Н. А. Попову, в конце 1870 г. [13, ф. 239, д. 19, ед. хр. 23, л. 1—2 об.]. Пока продолжались все эти хлопоты, он был вынужден существовать за счет главным образом литературного заработка. В эти годы он начинает активно сотрудничать в русской печати консервативного направления. В газетах «Москва» и «Русский» он поместил всего лишь несколько статей. Наибольшее количество публикаций Бурмова — в «Московских ведомостях». В этом издании за период с 1870 по 1877 г. он напечатал значительное число статей, сообщений и заметок.

Центральная тема выступлений Бурмова в русских периодических изданиях — болгарский церковный вопрос. На втором плане — внутреннее и внешнее положение Османской империи. Такая проблематика связана с представлениями Т. Бурмова о решении болгарского вопроса через достижение самостоятельности болгарской церкви. Эта позиция перекликалась с деятельностью русского посла в Константинополе Н. П. Игнатьева, уделявшего значительное внимание постепенному разрешению проблемы.

В середине 70-х годов XIX в. Бурмов — один из ведущих деятелей умеренно-консервативного крыла болгарского национально-освободи-

тельного движения. Он принадлежит к той группировке, которая связывала планы освобождения Болгарии с политикой правительства России. Об этом свидетельствуют его публикации в русской печати. В то же время можно отметить и обратное влияние группировки (одним из лидеров которой был Т. Бурмов) на политику русской дипломатии на Балканах. В 1875 г. Бурмов становится членом-корреспондентом созданного в Бразиле шестью годами ранее Болгарского научно-литературного общества [17].

Об общественно-политических взглядах Т. Бурмова свидетельствует отношение к Апрельскому восстанию. Он придерживался точки зрения, что восстание — нереальный способ достижения национального освобождения. В то же время он считал необходимым воспользоваться событиями для получения более активной моральной и материальной поддержки со стороны России [18, с. 607—608]. Бурмов входил в группу видных болгарских общественных деятелей во главе с экзархом Антимом I, организованную для изучения положения болгарского народа после восстания. Группа собирала сведения о жестокостях османских властей в Болгарии, намереваясь познакомить Европу с ассимиляторской и человеконенавистнической политикой султанского режима. В своей частной переписке с русскими деятелями он ратовал за оказание немедленной и эффективной помощи участникам восстания и членам их семей. Так, в письме М. П. Погодину от 15 мая 1876 г. звучали его отчаянные призывы о помощи жертвам репрессий [13, ф. 231, Под./III, д. 10, ед. хр. 89, л. 59—60]. Позднее, когда в Болгарию были отправлены деньги для содействия пострадавшим, при русском посольстве в Константинополе в сентябре 1876 г. был создан комитет для наблюдения за распределением пособий, в который вошел и Т. Бурмов [19, т. I, д. 257, с. 383].

Апрельское восстание 1876 г. в Болгарии привлекло внимание правительства великих держав к положению в Османской империи. По инициативе России в декабре 1876 г. в Константинополе состоялась конференция послов великих держав с целью выработки реформ для облегчения положения угнетенного в империи христианского населения. В ходе подготовки к конференции был разработан специальный проект административной автономии Болгарии. При этом в ее границы включались земли, вошедшие по султанскому фирману 1870 г. в пределы болгарского экзархата. В составлении подготовленных русской дипломатией нескольких вариантов проекта автономии активное участие принимал Т. Бурмов [19, т. I, д. 257, с. 383]. Однако султанские власти, поощряемые из Лондона, отклонили все эти проекты. Так события вели к войне России с Турцией.

Еще перед объявлением войны при главном командовании русской армии была учреждена специальная Канцелярия, ведавшая делами гражданского управления на будущих освобожденных задунайских землях, во главе с князем В. А. Черкасским. Ее деятельность началась задолго до перехода русскими войсками Дуная и была направлена на создание основы будущего болгарского государства. В состав Канцелярии было включено несколько образованных болгар, в том числе М. Дринов и Т. Бурмов. Вместе с П. Р. Славейковым, Т. Икономовым и другими болгарскими общественными деятелями Бурмов отправился в Бухарест. При их участии были подготовлены и изданы пять выпусков «Материалов для изучения Болгарии» [20]. В Канцелярии князя В. А. Черкасского Т. Бурмов занимал из болгар самый высокий административный пост [19, т. II, док. 37, с. 57; док. 53, с. 74—75; док. 55, с. 76; док. 165, с. 196; док. 288, с. 322; 21].

С освобождением части северной Болгарии Канцелярия приступила к непосредственной организации нового гражданского управления в болгарских землях. Т. Бурмов был назначен вице-губернатором Пловдивской губернии, а также членом высшего болгарского суда [22, л. 54—55]. Известно также, что в это время он был одним из руководителей габровского комитета «Единство», созданного по инициативе Тырновского благотворительного комитета, а также сторонником привлечения к админи-

стративной деятельности образованных болгар [22, л. 50—64; 19, т. III, док. 123, с. 213; док. 154, с. 251]. Он возобновляет также журналистскую деятельность. В 1878 г. в Пловдиве по его инициативе начинает издаваться первая после освобождения болгарская газета «Марица». (Позднее вместе с М. Балабановым Бурмов подготовил несколько номеров газеты «Витоша», был редактором газеты «Балкан» и сотрудником «Светлины» и «Братство»). После того, как София стала столицей княжества, он назначается ее губернатором.

Основная политическая борьба, развернувшаяся в Болгарии после превращения ее в самостоятельное государство, шла вокруг Тырновской конституции. Александр Баттенберг сразу же после вступления на княжеский престол стал проводить реакционную, антиконституционную политику. 5 июля 1879 г. было создано первое правительство Болгарского княжества, в которое Т. Бурмов вошел в качестве председателя совета министров. Одновременно он получил портфель министра внутренних дел; некоторое, весьма непродолжительное, время он исполнял и обязанности министра народного образования.

Будучи главой правительства и министром внутренних дел, Бурмов должен был заниматься самыми неотложными делами. В их числе были прежде всего вопросы административного устройства нового государства, формирования кадров администрации разного уровня, в центре и на местах. Срочной была также проблема устройства большого количества турецких беженцев, возвращавшихся в родные места. Правительству пришлось принимать безотлагательные меры по борьбе с разбойничьими бандами мусульман-фанатиков. Многие из них направлялись в пределы княжества (и еще больше в Восточную Румелию) султанскими властями, не желавшими примириться с потерей болгарских земель. Правительство Бурмова установило фактически дипломатические отношения со своими соседями и с великими державами [23].

В ноябре 1879 г. в результате борьбы между консерваторами и либералами, осложнявшейся интригами князя, правительство Бурмова вышло в отставку.

Пребывание Т. Бурмова на посту министра-председателя в 1879 г. было пиком его государственной деятельности. Позднее он был членом Верховного кассационного суда (1880), затем членом Государственного совета (1881), дважды министром финансов (1883, 1886). Последнее, по существу символическое, участие Т. Бурмова в государственной деятельности было связано с переворотом 21 августа 1886 г., в результате которого был свергнут князь А. Баттенберг. Участники переворота, желая закрепить свои непрочные позиции, провозгласили приход к власти «общенационального коалиционного кабинета» во главе с П. Каравеловым. В состав правительства были включены (без их ведома и согласия) Др. Цанков, С. Стамболов, Р. Радославов, К. Стоилов, К. Величков, Т. Бурмов и др.

С установлением в стране стамболовского режима Т. Бурмов трижды подвергается арестам и отходит от политической деятельности [13, ф. 239, д. 19, ед. хр. 23, л. 1—2 об.]. Последние 20 лет жизни он занимается публицистикой — пишет ряд сочинений по истории борьбы болгарского народа за самостоятельную болгарскую церковь против греческой патриархии в Константинополе. Две его работы — «Греко-болгарская распря» [24] и «Греко-болгарская распря в шестидесятых годах» [25] были изданы в России. В 1902 г. он опубликовал свой крупнейший итоговый и сводный труд по истории болгарской церкви [26]. На этом прекратилась его активная деятельность.

23 октября 1906 г. Т. Бурмов умер. В истории страны он оставил заметный след как просветитель, патриот, публицист и историк, борец за автокефальную болгарскую церковь и освобождение болгарского народа от чужеземного ига, один из «строителей» самостоятельного болгарского государства в период после освобождения.



1. *Пеев П.* Тодор Бурмов. София, 1943.
2. *Дойнов Ст.* С желание да бъдат полезни на народа.— В кн.: *Върхове на българска журналистика*. Т. I. София, 1976, с. 235.
3. *Балабанов М. Д.* Тодор С. Бурмов.— *Летопис на българско книжно дружество*, кн. 7. 1908.
4. *Поглубко К. А.* Из истории болгаро-российских культурных связей 40—70-х годов XIX в. Кишинев, 1976, с. 62.
5. ЦГИА УССР, ф. 711, оп. 1, д. 4083, л. 1.
6. *Стоянов-Бурмов Т.* О начале христианства, его распространении и утверждении между болгарями.— *Христианское чтение*, 1858, ч. 2, № 1—3.
7. *Български книжици*, кн. 9—24, 1859; кн. 1, 1860.
8. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 4, с. 228.
9. *Блазоев Д.* Принос към историята на социализма в България. София, 1956, с. 22.
10. *Андреев Б. М.* Българският печат през Възраждането. София, 1932, с. 52.
11. *Боршукоев Г.* История на българската журналистика. 1844—1877. 1878—1885. София, 1965, с. 112.
12. *Каравелов Л.* Българска журналистика.— *Московские ведомости*, 1862, № 153, 154.
13. Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина.
14. Москва, 1867, № 170, 184, 188, 190.
15. *Никитин С. А.* Южнославянские связи русской периодической печати 60-х годов XIX в.— В сб.: *Ученые записки Института славяноведения АН СССР*. Т. 6. М., 1952, с. 106.
16. *Генчев Н.* Франция и българо-гръцките църковни отношения през 50—70 години на XIX век.— *Исторически преглед*, 1976, № 4, с. 44.
17. 100 години Българска академия на науките. 1869—1969. Т. I. София, 1969, с. 103.
18. *Бужашки Е.* Възникването на буржоазната политическа система в България.— В кн.: *България 1300. Институции и държавна традиция*. Т. I. София, 1981.
19. Освобождение Болгарии от турецкого ига. Т. I. М., 1961; Т. II. М., 1964; Т. III. М., 1967.
20. *Тодоров Г. Д.* Временото руско управление в България през 1877—1879 г. София, 1958, с. 70.
21. *Петров М.* Руската помощ на създаване на българската администрация (1877—1879).— *Исторически преглед*, 1972, № 5, с. 46.
22. Архив внешней политики России, ф. Управление императорского российского комиссара в Болгарии, д. 4.
23. *Петров М.* Българо-руските политически отношения в първите години след Освобождението (1878—1881).— В кн.: *Проблеми на политическата история на България 1878—1944*. Т. XXIV. София, 1979.
24. *Русский вестник*, 1886, № 1, с. 148—187, № 2, с. 491—548.
25. *Вестник Европы*, 1888, № 8, с. 718—759. № 9, с. 40—92.
26. *Бурмов Т.* Българо-гръцката църковна разпря. София, 1902.



# ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

*Внешняя политика России XIX и начала XX века. Документы Российского министерства иностранных дел. М., 1982, 831 с.*

Подготовленный Комиссией по изданию дипломатических документов при МИД СССР тринадцатый том (пятый том второй серии) внешнеполитических документов России включает документы 1823—1824 гг.<sup>1</sup> Это было время буржуазной революции в Испании, подавленной в результате интервенции, организованной Священным союзом, нарастания антиосманского греческого восстания, национально-освободительных революций и движений в Латинской Америке. Европейская ситуация была в центре внимания мировой дипломатии.

Том содержит, в основном, впервые публикуемые документы. Его материалы раскрывают как внешнюю политику России и других держав, так и внутриполитическое положение России, ход греческого восстания и развитие революционной и национально-освободительной борьбы в Европе и Латинской Америке. В связи с этим они имеют научное значение не только для характеристики русской и западноевропейской дипломатии, международной обстановки и дипломатических отношений в Европе тех лет, но и для освещения процесса освободительной борьбы.

Публикуемые документы отражают усиление консервативного направления внешней политики царской России, показывают усилия русской дипломатии сохранить согласие европейских держав в условиях начавшегося развала Священного союза. Его разложение происходило из-за столкновения экономических и политических интересов внутри него, растущего соперничества европейских держав в Юго-Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

<sup>1</sup> Редакционная коллегия пятого (тринадцатого) тома: А. Л. Нарочницкий (ответственный редактор), Г. К. Деев, И. С. Достяк, В. П. Костылев, Н. Б. Кузнецова, В. И. Мазаев, О. В. Орлик, М. К. Радецкий.

Одним из важнейших вопросов, который занимал европейскую дипломатию в рассматриваемые годы, была революция в Испании. Союзные континентальные страны поддержали контрреволюционную интервенцию Франции в Испанию, приводящую к восстановлению здесь абсолютизма. Вместе с тем документы свидетельствуют, что Россия проявляла заинтересованность в политической независимости этой страны, стремилась оградить ее от последующего давления со стороны Англии и Франции. Российское правительство выступало за прекращение в Испании репрессий и за амнистию.

Материалы тома раскрывают консервативную политику царского и других правительств в отношении революции в Португалии, преобладающее влияние Англии в этой стране. Документы рассказывают о совместных акциях петербургского, венского и берлинского кабинетов с целью воспрепятствования усилению в малых германских государствах оппозиционного движения. Это не исключало противоречий в русско-прусских торговых отношениях в связи с введением Фридрихом-Вильгельмом III нового таможенного тарифа, предусматривавшего высокие пошлины на экспорт товаров из России и Королевства Польского в Пруссию и транзит товаров через прусские порты на Балтийском море.

Часть документов касается связей России со Швейцарией, Нидерландами и другими европейскими странами.

1823—1824 гг. были временем определенной перегруппировки сил на международной арене в связи с Восточным кризисом, который был вызван в 1821 г. восстаниями в Дунайских княжествах и Греции. Многочисленные документы тома раскрывают процесс возобновления русско-турецких дипломатических отношений, прерванных в 1821 г., как и контакты других держав с Османской Турцией.

Публикация отражает усиление борьбы России с Великобританией вокруг греческой проблемы. Каждая из стран добивалась ведущей роли в ее решении. Но если Великобритания на первое место ставила сохранение дружбы с Османской империей, то Россия требовала прекращения репрессий на Архипелаге и выступала с конкретным проектом устройства освобождающейся Греции, который предполагал ее автономию. В томе публикуются «Записки об умиротворении Греции» — российский проект нового политического устройства греческих земель, дипломатическая переписка в связи с конференцией в Петербурге представителей союзных держав по поводу греческого вопроса, наконец, документы о материальной помощи греческим эмигрантам.

Из материалов тома четко вырисовывается принципиальное отличие политики России на Балканах от позиции Великобритании, Австрии, Пруссии и Франции, преследовавших цель сохранить *status quo* османских европейских владений. Россия добивалась соблюдения статей русско-турецких договоров и упрочения прав, которые были достигнуты тем или другим народом. При этом российские правящие сферы имели и собственные интересы, стремясь к усилению своего влияния на юго-востоке Европы. Российское правительство настаивало на полном выведении из Дунайских княжеств турецких войск, вступивших на территорию Молдовы и Валахии для подавления освободительного восстания 1821 г. Документы убеждают в постоянной готовности России оказать помощь возродившейся Сербии. В томе содержится немало документов, показывающих попытки западной дипломатии удержать Россию от воздействия на Порту в пользу балканских народов и ограничить ее действия. Издание подтверждает тезис советской историографии о последовательной и упорной внешнеполитической линии России на поддержку балканских народов.

Одним из принципиальных внешнеполитических вопросов для петербургского кабинета был вопрос о статусе Прованса. Документы свидетельствуют о настойчивом российском требовании соблюдения Портой соответствующих статей русско-турецких договоров и устранения препятствий, чиняемых черноморской торговле. Россия отстаивала принцип свободного торгового судоходства через Босфор.

В томе приводится много нового для

понимания русско-американских отношений в рассматриваемые годы. Публикуются документы о владениях и деятельности Российско-американской компании, о переговорах между Россией, США и Великобританией по вопросу о пределах их владений в Северной Америке и прилегающих территориальных вод на Тихом океане. Приводится текст конвенции, заключенной в 1824 г. Россией и США относительно мореплавания, рыболовства, торговли и территориальных разграничений в Северо-Западной Америке. Документы расширяют научные знания об отношении России к доктрине Монро, провозглашенной в 1823 г. Они подкрепляют вывод советской историографии о том, что внешняя политика правительства США преследовала цель упрочить позиции и экспансию США в Северной Америке и ослабить вмешательство европейских государств в дела Нового Света.

Существенное место в томе занимают документы, показывающие отношение России и других держав к национально-освободительной борьбе латиноамериканских народов. Изданная переписка свидетельствует об осторожности, с какой российское правительство подходило к событиям в Латинской Америке. При всей приверженности к охранительной идеологии и принципу легитимизма петербургский кабинет не имел ни желания, ни возможности насильственно вмешиваться в латиноамериканские дела. В документах отражены и разногласия между континентальными европейскими державами, с одной стороны, Англией и США, с другой, в вопросе о независимости бывших испанских колоний в Америке. Одновременно раскрываются подлинные экономические и политические цели признания Англией независимости новых латиноамериканских государств: распространяя на них торговое, финансовое и политическое влияние, британский кабинет пытался, в частности, противопоставить его растущему влиянию Франции в Испании после подавления там революции.

В томе содержатся материалы о торговле России на Северном Кавказе, а также свидетельства о стремлении России к дружественным отношениям и расширению торговых связей с Ираном. Вместе с тем в них отражаются и российско-иранские разногласия по поводу демаркации границы на основании Гюльстаркского мирного договора 1813 г., территориальные притязания шахского

правительства на грузинские и азербайджанские земли в составе России. Публикация показывает также претензии Османской империи на грузинские и абхазские области в Закавказье, добровольно вошедшие в состав России.

Раскрываются мирные и дружественные пограничные отношения с Китаем, развитие торговых связей через Кяхту.

Публикуемые документы воссоздают более полную картину политических и торгово-экономических связей России с Бухарским и Хивинским ханствами, процесса добровольного вступления в российское подданство населения Среднего и Большого казахских жузов.

Документальное богатство тома дополняют комментарии, включающие выдержки из архивных источников. Комментарии способствуют правильному пониманию поднятых проблем. Именной, географический и предметно-тематический указатели облегчают работу исследова-

телей. Список основных изданий включает документы внешней политики России за 1823—1824 гг.

Рецензируемый труд пополняет научный источниковый фонд советской историографии материалами о внешней политике России указанного периода. Публикуемые документы открывают новые перспективы в изучении политики России, убедительно свидетельствуя о ее существенном отличии по ряду важных аспектов от политики западных государств. Материалы тома показывают бесплодность усилий западной историографии, пытающейся представить Россию агрессивной страной и всячески обелить при этом политику и дипломатию западных держав. Публикация ставит научные вопросы внешней политики России 20-х годов XIX в. на прочную основу.

*Лещилова И. И.*

*Н. Н. ЧЕРВЕНКОВ, Политические организации болгарского национально-освободительного движения во второй половине 50-х—60-е годы XIX века. Кишинев, 1982, 132 с.*

Рецензируемая монография посвящена одной из важных проблем истории освободительной борьбы болгарского народа против османского ига — формированию и деятельности политических организаций болгарской эмиграции в Румынии. После окончания Крымской войны 1853—1856 гг. и до создания на рубеже 1860—1870 годов разветвленной сети внутренней революционной организации в болгарских землях Османской империи именно эмиграция принадлежала самая активная роль в постановке политических задач болгарского национального движения. На протяжении всего периода османского владычества наблюдался процесс переселения болгар к северу от Дуная, в рассматриваемое время число переселенцев достигло нескольких сотен тысяч человек. Автономный характер Валахии и Молдовы, оставшихся вассальными по отношению к султанской власти, создавал определенные возможности для хозяйственной и политической деятельности болгар-переселенцев. В Румынском княжестве они сохраняли и развивали национально-культурные традиции. Формировавшаяся в среде болгар

торговая буржуазия была инициатором выдвижения общенациональных задач, таких как: создание политического руководства освободительным движением, организация в различных формах борьбы за национальное освобождение. Именно эти вопросы стали центральными в монографии Н. Н. Червенкова.

Опираясь на имеющиеся работы по истории отдельных болгарских организаций, деятельности их лидеров, автор попытался рассмотреть в комплексе политические объединения болгарской общности, их выступления за создание национальной церковной организации, развитие национального просвещения, развертывание вооруженной борьбы против османского ига. Многие из этих вопросов остаются дискуссионными в исторической литературе, поэтому конкретное рассмотрение в книге Н. Н. Червенкова процесса поляризации политических группировок в среде болгарской эмиграции, выделения революционного течения в национальном движении будет способствовать разрешению спорных вопросов освободительной борьбы болгарского народа.

При более широком хронологическом рассмотрении этой тематики, с учетом деятельности болгарской эмиграции в России и Сербии, борьбы болгарского населения непосредственно в Османской империи, актуальной становится в последнее время оценка роли национальной буржуазии в освободительном движении. Упрощения и увлечения при освещении этой проблемы не преодолены в историографии по сей день. В этой связи исследование Н. Н. Червенкова представляет собой новое слово в затянувшемся споре.

Внимательный учет достижений и пробелов в современной историографии потребовал от автора целенаправленного расширения источниковой базы, привлечения неопубликованных материалов из архивохранилищ СССР и НРБ. Это способствовало выяснению деятельности болгарской эмиграции в конце 50-х — начале 60-х годов, в особенности роли Бухарестского комитета в национально-церковном движении, участия болгарских организаций в Румынии в развитии просветительских форм национального движения. Автор сумел впервые показать процесс дифференциации болгарской эмиграции, проследить складывание тех различий, которые определяли позиции двух основных общественно-политических течений, так называемых «старых» и «молодых». Под влиянием подъема национальной борьбы болгарские просветительские организации, действовавшие за пределами страны, стали центром притяжения патриотических сил.

В болгарской историографии хорошо выяснены основные установки и деятельность буржуазной эмиграции в области национального просвещения [1]. Заслуживает Н. Н. Червенкова является показ тесной связи просветительских и политических принципов болгарской буржуазии, а также коренных расхождений во взглядах «старых» и «молодых». Для последних национальное просвещение и борьба за развитие национальной культуры были неотъемлемыми компонентами подготовки к революционному выступлению. В практической деятельности «старых» образование и просвещение выступали лишь в качестве необходимого условия для реформ.

Показывая политическую радикализацию течения «молодых», автор стремится подчеркнуть организационную преемственность Тайного центрального болгарского комитета (ТЦБК), «Болгарского общества» и «Молодой Болгарии» с Болгарским революционным центральным ко-

митетом. В книге раскрывается сложный состав революционного крыла в болгарском национальном движении. Однако нельзя только трудностями поиска организационных форм объяснить особенности политической программы течения «молодых». Важное значение в этом отношении имели внешнеполитические условия, менявшиеся на протяжении 1860-х годов.

Специальное внимание в монографии уделяется внешнеполитической ориентации наиболее известных организаций: «Добродетельной дружины» и Тайного центрального болгарского комитета. Констатируя стремление «Добродетельной дружины» опираться в своих действиях на дипломатию России, автор возражает против употребляемого в исторической литературе однозначного определения внешнеполитической ориентации ТЦБК как прозападной. Анализ документов этой организации, материалов ее печатного органа — газеты «Народность» дает основание говорить об изменении внешнеполитической линии ТЦБК, о том, что он не ориентировался исключительно на западные державы, а стремился также использовать в своих интересах и дипломатию России.

Значительное место в книге отведено четническому движению конца 1860-х годов, отношению к нему эмигрантских организаций. Автор определяет степень участия болгарских группировок в подготовке четнических отрядов в 1866—1867 гг. Причины и мотивация подготовки вооруженных действий были различными и находились в тесной связи с идейно-политическими и тактическими установками отдельных болгарских организаций. Тем не менее подход Н. Н. Червенкова к этому вопросу болгарского национального движения 1860-х годов позволяет по-новому осветить проблему взаимодействия различных политических группировок, более четко представить равнодействие неоднородных сил и неодинаковых устремлений, имевшихся в освободительном движении болгарского народа.

Положительные аспекты исследования позволяют определить его как новаторскую работу в изучении и обобщении данных о подъеме болгарского национального движения на качественно более высокую ступень, когда получили свое развитие все основные формы борьбы за национальное освобождение, когда на передний план стали выдвигаться политические проблемы подготовки и организации вооруженного выступления.

В то же время следует отметить необходимость специального анализа целевых установок различных болгарских организаций, их предвзятости о будущем государственном устройстве освобожденной Болгарии. Эти компоненты политических программ не всегда получали свое законченное выражение. Однако они составляли важнейший элемент в процессе поляризации общественно-политических сил в болгарском национальном движении. Наряду с выбором путей борьбы за освобождение страны именно определение целевых установок стало водоразделом в оформлении течений в общем потоке освободительных устремлений формировавшейся болгарской нации.

Интересные выводы, содержащиеся в рассмотренной работе Н. Н. Червенкова, несомненно станут стимулом дальнейших исследований по истории освобождения Болгарии от многовекового иноземного ига.

*Билунов Б. П.*

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Плетньов Г.* «Добродетелната дружина» в Букурещ и развитието на българското образование.— Трудове на Велико-Търновския университет „Кирил и Методий“. Исторически факултет. 1979—1980 г. София, 1981, т. XVII, кн. 3, с. 32—64.

## НОВАЯ ПОЛЬСКАЯ КНИГА О ЧЕШСКОЙ И СЛОВАЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Критика и литературоведение отчетливо отражают растущий уровень взаимодействия социалистических культур. В каждой из европейских социалистических стран работают специалисты по национальным литературам других социалистических стран, значение лучших из их исследований выходит далеко за рамки информации и популяризации. Примером концептуального труда подобного рода является книга польского ученого В. Навроцкого [1].

Видный культурный и общественный деятель социалистической Польши, В. Навроцкий широко известен своими трудами по литературе XX в., по актуальным методологическим и культурно-политическим проблемам. Он принадлежит к последовательным представителям марксистского ядра польской литературоведческой науки, его труды всегда отличает четкая ориентация в сложной проблематике современной идеологической борьбы, обширная эрудиция, отстаивание принципа классового подхода к явлениям культуры. В этом отношении особенно примечательна его книга «Класс, идеология, литература. К проблематике связи литературы и идеологии», изданная в 1976 г., а также многочисленные выступления на страницах периодической печати не только в Польше, но и в СССР, Чехословакии и других социалистических странах.

Круг интересов Навроцкого — история литературы и критика — включает,

кроме польской, чешскую и словацкую, немецкую и скандинавские литературы. Литературами Чехии и Словакии польский исследователь много лет занимается особенно пристально, им посвящена и его новая книга. Она состоит из трех разделов. В первом рассматриваются некоторые вопросы типологии чешской и словацкой литератур, во втором — литература межвоенного периода, в последнем — проблемы развития чешской и словацкой литературы наших дней.

Открывает книгу важная в методологическом отношении статья «Состояние и задачи исследований литератур социалистических стран», в которой характеризуется развитие данной отрасли польского литературоведения и подчеркивается принципиальная новизна современного научного подхода к названным литературам. Автор справедливо утверждает: «Сосуществование социалистических стран в интегрированном политико-экономическом единстве обязывает исследователя литературы по-иному смотреть на закономерности историко-литературного процесса, на модификацию старого принципа „взаимности“ во имя иного, высшего единства, смысл которого определяется общественно-политическими условиями, порожденными существованием лагеря социалистических государств» (с. 9). В. Навроцкий специально останавливается на проблеме «открытости» структуры национальной социалистической литературы, которая, по его убеж-

дению, представляет собой не замкнутую сумму художественных произведений, но живой организм, взаимодействующий с национальными литературами других социалистических стран. Ссылаясь на труды Д. Ф. Маркова, автор высказывается за понимание социалистического реализма как «категории эстетически открытой в том смысле, чтобы адаптация различных стиливых и выразительных средств наилучшим образом служила свободному, всестороннему и динамичному познанию мира» (s. 11).

В. Навроцкий является сторонником активного взаимодействия между литературой и критикой братских социалистических стран. Он полагает, что «исследователь литературы современных социалистических стран не может быть лишь пассивным наблюдателем, вписывающимся в контекст изучаемой литературы» (s. 15), он должен стремиться дать ее самостоятельный анализ, базирующийся на учете культурного опыта своей собственной страны. По сути дела, книга «Современность и история» является воплощением на практике именно такого подхода к современной литературе Чехословакии и ее историческим корням.

Автора книги интересует типология чешской и словацкой литературы, которую он стремится понять, исходя из особенностей исторических судеб этих народов, прослеживая сложные взаимосвязи между национальной историей и историей национальной литературы. Вопросы складывания словацкой национальной литературы находятся в центре статьи о Людвиге Штуре. Поводом для ее написания послужил выход в свет монографии известной польской исследовательницы Г. Янашек-Иваничковой о Л. Штуре [2]. Обратившись к этой книге, Навроцкий не ограничился ее анализом и оценкой, но продолжил разговор по затронутым в ней проблемам, обстоятельно изложив свою точку зрения. Он подчеркнул глубокую противоречивость мировоззрения и гражданской позиции этого выдающегося деятеля словацкого национального возрождения, отверг попытки его идеализации, но вместе с тем показал огромный вклад Штура в дело становления словацкой национальной культуры, новой словацкой литературы.

Большое внимание к национальной специфике культуры сочетается в работе Навроцкого с последовательно классовым подходом к данной проблематике. Национальная литература не есть для

него нечто неизменное, раз и навсегда данное, молилитное. Он видит разные тенденции в национальной культуре буржуазной эпохи, подчеркивает, что в середине XX в. формируется новый облик словацкой нации, нации нового типа, что предопределяет и новый облик словацкой национальной культуры (s. 43).

Развитие литературы Чехословакии в межвоенный период Навроцкий рассматривает на материале творчества Я. Гашека, С. К. Неймана, Ю. Фучика, М. Урбана, Я. Червены. Это своего рода монографические медальоны о жизни и творчестве этих писателей, которые отличает прекрасное — вплоть до деталей — знание их биографий, широкая осведомленность о чешских, словацких и советских работах об этих авторах, оригинальность суждений об их художественных произведениях. Ведущий принцип Навроцкого — не упрощать, не сглаживать противоречий, разделить переходящее от главного, понять самую суть творческой эволюции и художественного вклада каждого из рассматриваемых им авторов. Так, он не соглашается с литературоведами, которые трактуют Гашека как последовательного революционера, а его биографию — как некий молилит (s. 102), но это не мешает ему в полной мере признать величие Гашека-сатирика, борца против войны и милитаризма, вскрыть народную основу его блистательной иронии.

Большой интерес, как историко-литературный, так и методологический, представляет статья о М. Урбане — крупном словацком писателе-реалисте, который создал один из самых острых социальных романов в словацкой литературе 20-х годов («Живой бич»), но в период второй мировой войны отошел от левых позиций, попал под влияние клерикально-фашистской идеологии. Проявившееся в этой статье углубленное внимание исследователя к пагубности воздействия на литературу реакционного католицизма связано с актуальностью этой проблемы в современной Польше. Навроцкий далек от простого обличения писателя, несмотря на серьезность его проступков перед народом — он стремится подробно проанализировать причины гражданского падения Урбана, причины временного успеха людацкой пропаганды в достаточно широких слоях населения Словакии. Навроцкий подчеркивает, что только коммунисты (в литературе: В. Клементис, Л. Новомеский и др.) решительно противостояли людацкому национализму.

Идейный срыв оказался губительным для Урбана и как для художника: он уже так и не сумел от него оправиться. Тем не менее Навроцкий признает, что творчество Урбана имело «историческое значение» для словацкой литературы (с. 215).

Статья «Проза о „словацком пути к свободе“: модели и схемы», включенная в третий, заключительный раздел книги, посвящена анализу эволюции трактовки темы Словацкого национального восстания 1944 г. в словацкой литературе. «Словацкое восстание,— считает В. Навроцкий,— с самого начала выполняло идейно-вдохновляющую и формирующую функцию в словацкой литературе» (с. 317). Исследователь показывает в словацкой прозе о восстании и заметные удаchi, и явные проигрыши, он убежден, что словацкий народ (и словацкие писатели) не имеют причин «что-либо ретушировать или замазывать» в собственной истории (с. 339).

Обстоятельное исследование посвящает Навроцкий чешской исторической прозе — «Комментарий к развитию чешского исторического романа». На эту тему существует уже довольно много работ, прежде всего в самой Чехословакии, но статья Навроцкого выделяется на общем фоне оригинальностью подхода к материалу, независимостью оценок, что особенно относится к литературе последних лет. С некоторыми суждениями автора можно было бы поспорить. Так, в современном историческом романе он наиболее высоко оценивает произведения И. Шотолы и В. Эрбена, но вообще не рассматривает трилогию В. Неффа («У королев не бывает ног», «Перстень Борджиа», «Прекрасная колдунья»), а трилогию Б. Ржиги об Иржи Подебраде и его времени, как и историческую романистику М. В. Крадохвила, считает не слишком значительными и интересными. Соглашаясь с автором, что исторический роман не может быть простой иллюстрацией исторических событий, что для этого литературного жанра первостепенно важна связь с современной проблематикой и художественное дерзание, я не могла бы, однако, полностью принять его трактовку этих произведений. На мой взгляд, романы Б. Ржиги и М. В. Крадохвила — заметные явления в развитии исторического жанра в современной чешской литературе. Относится к ним и историко-приключенческая проза В. Неффа, потому что — при всем своеобразии ее пародийно-иронической формы — она не

только остроумно изображает некоторые стороны и особенности исторической действительности, но и содержит вполне определенную философию истории. Вместе с тем работа Навроцкого заставляет еще раз проверить оценки, а в чем-то его аргументация может и послужить пересмотру иерархии ценностей, принятой современной критикой по отношению к чешскому историческому роману 70-х годов.

В современной литературе исследователя неизменно привлекает смелая постановка новых сложных проблем, новаторские поиски в области формы. Он признает важность продолжения и развития в современных условиях на новом уровне классических национальных традиций (статья о лирике А. Плавки), но все же ему ближе поэзия новаторского типа, пользующаяся новыми современными приемами и выразительными средствами (статьи о П. Горове и М. Валеке). Подробно анализирует Навроцкий весьма своеобразную прозу Б. Грабала, особенности сатирического письма В. Парала, отмечая как определенные достоинства творческой манеры этого писателя, так и ее некоторые слабые стороны. Прекрасно ориентируясь в современной литературе Чехословакии, исследователь предлагает нам свое оригинальное восприятие ее достижений и проблем, с которыми можно в чем-то и не соглашаться, но которое помогает понять ее особенности.

И еще одна важная черта отличает книгу Навроцкого. Посвященная специально чешской и словацкой литературе, она в то же время пронизана мыслью о судьбах современных социалистических литератур вообще, о трудностях и болезнях их роста, об их ответственной гражданской миссии. В книге ведется убедительная полемика с вульгаризаторами и лже-толкователями проблем социалистической культуры.

Работа В. Навроцкого по-новому освещает некоторые стороны и факты истории и современного состояния чешской и словацкой литератур, проблематику их национального своеобразия.

*Шерлаимова*

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Nawrocki W. Współczesność i historia. Z problematyki współczesnej literatury czeskiej i słowackiej. Katowice, 1982, 439 s.*
2. *Janaszek-Ivaničková H. Kochanek Sławy. Studium o Ludovicie Stūrže. Katowice, 1978, 416 s.*



ЧЕРМАК ФР. *Идиоматика и фразеология чешского языка*

Фразеология многих славянских языков в последнее время разрабатывалась весьма интенсивно. Чешская же фразеология в этом отношении продолжала оставаться лингвистической целиной, хотя еще в прошлом веке в Праге почти одновременно вышли книги Й. Шаха (1862) и Ф. Шебека (1864) с одинаковым заглавием «Чешская фразеология», которые могли бы стимулировать интерес современных богемистов к данной проблематике.

Франтишек Чермак своей книгой не только возродил, наконец, эту старую традицию, но и значительно обогатил современную теорию фразеологии. Преимущественный интерес к глобальным, общетеоретическим проблемам отличает книгу от многих монографических исследований по русской, белорусской, украинской, польской, словацкой, болгарской фразеологии. Как подчеркивает сам автор, цель книги — выявить основные критерии и аспекты, релевантные для описания идиоматики и фразеологии вообще, и представить это «в более или менее последовательном виде» на материале чешского языка (с. 3).

Центральный акцент книги — методология лингвистического анализа фразеологических единиц (ФЕ), при разработке которой автор опирается как на опыт советского и чехословацкого языкознания, так и — в гораздо большей степени, чем все его предшественники — на концепции западных фразеологов и синтаксистов, критически переоценивая многие из них. Отсюда, в частности, особое внимание к меж- и внутриуровневым трансформациям ФЕ, к их структуре и функциональным проявлениям. Критически разбирая весьма многочисленные и противоречивые теории фразеологии, Фр. Чермак стремится выработать самостоятельную трактовку той или иной проблемы. И нужно сразу сказать — это ему обычно удается, итогом чего оказывается весьма стройная и целостная система взглядов автора на фразеологию.

В предисловии Фр. Чермак кратко останавливается на истории развития фразеологии как самостоятельной дисциплины, справедливо подчеркивая, что ее

возникновение тесно связано с лексикографической практикой. Здесь же определяется ФЕ как «устойчивое и воспроизводимое в готовом виде сочетание слов или других единиц, значение которого обычно (частично или целиком) не выводится из значения его составных элементов и которое по своему характеру является более или менее неповторимым в том смысле, что некоторый из его компонентов (или только один из них) в другом сочетании не функционирует таким же образом, либо появляется лишь в одном выражении» (с. 17). В дальнейшем эта предварительная дефиниция развертывается и еще раз конкретизируется (с. 115). Названные качества придают фразеологии статус автономной области языка.

Первый раздел книги («Способы описания ФЕ») посвящен аргументации особого места ФЕ в языке, взаимоотношениям ФЕ с ее компонентами, с другими ФЕ. Особо рассмотрены основные оппозиции и аспекты ФЕ: форма — значение, компонент — целое, парадигматика — синтагматика, «компатибельность — некомпатибельность», структура — позиция и т. д. Уже сам этот перечень показывает, что автор по-новому освещает динамику ФЕ и смело вводит некоторые понятия и термины, непривычные для советской фразеологической науки. Так, важное для концепции автора понятие «компатибельность» (*kompatibilita*) определяется как взаимная семантическая совместимость двух элементов языковой системы, принадлежащих различным парадигмам того же уровня, которая основана прежде всего на существовании по крайней мере одной общей черты, проявляющейся в языковой структуре или тексте как возможность создавать осмысленные синтагмы (с. 36, 213).

Второй — центральный и самый большой по объему (с. 53—118) раздел («ФЕ как языковая единица») посвящен всесторонней характеристике ФЕ. Здесь исследуются формальные и семантические свойства ее компонентов, их сочетаемость и особо — специфика ФЕ как комплексного знака, органически вобравшего в себя свойства образующих его ингредиентов.

В третьем разделе («Система ФЕ») Фр. Чермак анализирует разнообразные проявления фразеологической системности, снова возвращаясь к проблематике межуровневого статуса ФЕ и их классификации (функциональной, семантической, структурной). Особое внимание уделено здесь сочетаемости и семантике ФЕ, подчеркнута своеобразная роль некоторых стержневых слоев (например, абстрактных существительных) в формировании фразеологического значения, рассмотрены отдельные группы ФЕ и устойчивых словосочетаний вообще (сравнения, предложные фраземы и идиомы, специальная терминология и ФЕ).

Четвертый раздел («Трансформации») содержит краткий, но весьма насыщенный обзор важной для фразеологии проблематики варьирования — как на уровне языка, так и на уровне речи. Автор различает такие типы трансформации, как внутриуровневую и межуровневую, структурную и внутрискруктурную, а также индивидуальную, которая, видимо, противопоставлена общезыковой. В рамках этого распределения разграничиваются синтагматические, парадигматические и смешанные виды трансформаций.

В пятом разделе («Функция и узус») освещена важная для Пражской лингвистической школы характеристика ФЕ — ее функциональный статус. Автора интересует специфика взаимодействия ФЕ с контекстом, их валентность в контексте, клишированность ФЕ. Подвергается рассмотрению десигнативная и прагматическая функция ФЕ, определяется взаимоотношение их структурной и номинативной функций, дается комплексная классификация ФЕ.

Небольшой раздел-заключение («Место ФЕ в системе языка») возвращает читателя к проблемам системности и сущности ФЕ. Фр. Чермак на основании проделанного анализа приходит к выводу, что ФЕ должны исследоваться комплексно. При этом необходимо учитывать, что в этих комплексных языковых единицах «всегда определенные стороны превалируют над другими, что здесь мы имеем дело с многоаспектной аномалией и в то же время — и с различными переходными случаями и совмещениями, которые либо усложняют, либо вообще делают невозможным однозначное определение фраземы или идиомы» (с. 200). Несмотря на эту сложность и внутреннюю противоречивость, автор склоняется

к мысли, что фразеология в системе лингвистических дисциплин ближе всего стоит к лексикологии.

Как видим, Фр. Чермак в своей книге даст цельную и оригинальную трактовку ФЕ и фразеологической системы. Привлекает стремление автора с различных точек зрения охватить все многообразие свойств этой единицы, что отражено и в уже цитированном ее определении.

Вместе с тем нельзя не видеть и некоторой неполноты этого определения, несмотря на ее пространность. Автор опирается лишь на такие свойства ФЕ, как устойчивость и воспроизводимость в готовом виде, раздельнооформленность и семантическую ограниченность компонентов ФЕ, но не упоминает такого релевантного признака этой единицы, как экспрессивность. Без учета экспрессивности, однако, в разряд фразеологии можно ошибочно отнести и огромную массу устойчивых составных терминов и номенклатур. Материал книги, однако, показывает, что «фразеологию» в таком широком смысле, не представляющую собой целостный объект лингвистического исследования, автор не имеет в виду: иллюстративные примеры почти всегда представляют собой чешскую идиоматику, т. е. фразеологию в узком смысле (*chytat lelky číst levity, zlatý dňl*), а она — насквозь пронизана экспрессивностью.

Нужно сказать, что Фр. Чермак, как объективный исследователь, не мог вообще пройти мимо такого свойства ФЕ как экспрессивность. Говоря о классификации идиом (фразем) по функции и отношению к тому или иному стилю речи, он касается этого свойства, разграничивая экспрессивность системную и текстовую, маркированную и немаркированную (с. 98—99). Тем не менее, в состав релевантных признаков ФЕ это важное свойство не включено.

Недооценка экспрессивности ведет автора к определенной непоследовательности при квалификации корпуса чешской фразеологии. Сюда, например, включаются некоторые служебные сочетания (*kóg když, so do, ba so dím?*) или составные термины и номенклатуры типа *rozvázat pracovní poměr, pracovat v úkolu*, хотя сам автор подчеркивает, что составные термины включать в число ФЕ нельзя (с. 153). Отсюда, кстати, и субъективность в оценке идиоматичности тех терминов, которые имеют образную внутреннюю форму (например, *kudlanka pábožná*

«богомол, mantis religiosa»): их терминологичность легко аргументировать, сопоставив подробные наименования в разных языках.

Спорным представляется и взгляд Фр. Чермака на фразеологическую омонимию. Омонимами считаются такие ФЕ, которые «допускают вместе с пидиоматическим значением и их дословное понимание» (с. 105). Это обороты типа *mýdlová bublina*, *hořká pilulka*, *házet flintu do žita* и т. д. Поскольку таких оборотов во фразеологии большинство, ибо они основаны на «перепаде» прямого и переносного значения, то с точки зрения автора надо было бы считать чуть

ли не все ФЕ омонимами. Такой взгляд неправилен и с чисто лексикологической точки зрения, где взаимодействие прямого и переносного значения обычно трактуется как полисемия.

При всей спорности некоторых концепций и трактовок, монография Фр. Чермака — существенный вклад в общую и славянскую науку о ФЕ. Самостоятельный, насыщенный глубокими теоретическими идеями труд чехословацкого исследователя открывает новые перспективы изучения такой комплексной и проблемной лингвистической дисциплины, как фразеология.

*Мокиенко В. М.*



## ДВЕ КОНФЕРЕНЦИИ В СЕКТОРЕ СТРУКТУРНОЙ ТИПОЛОГИИ

19—21 апреля 1983 г. в Москве в Институте славяноведения и балканистики АН СССР состоялось Всесоюзное совещание по проблеме «Категория притяжательности в славянских и балканских языках». В работе совещания, организованного сектором структурной типологии славянских и балканских языков, приняли участие лингвисты из научных учреждений и высших учебных заведений Москвы, а также Ленинграда, Одессы, Томска, Иркутска.

Открывая заседания по поручению организационного комитета, В. Н. Топоров во вступительном слове охарактеризовал общие проблемы типологического изучения категории притяжательности и подчеркнул большие научные заслуги И. И. Ревзина, бывшего инициатором многих коллективных работ такого рода. Памяти этого ученого было посвящено первое заседание.

Работа совещания была сосредоточена вокруг трех групп тем: 1) общие вопросы категории притяжательности, 2) категория притяжательности в славянских и балканских языках, 3) категория притяжательности в языках иного строя. На утреннем заседании первого дня рассматривались преимущественно теоретические проблемы. Так, в докладе Ю. Д. Апресяна «Синтаксические средства выражения посессивности» был продемонстрирован строго формальный анализ семантики собственно синтаксических средств выражения посессивности. Материалом служили данные русского языка, но предложенная процедура анализа посессивных конструкций приложима к любому естественному языку. Е. М. Вольф, выступившая с докладом «О соотношении посессивных и качественных значений», указала на глубокие различия семантических свойств посессивов и качественных прилагательных, образующих сходные по форме конструкции. О. Н. Селиверстова в докладе «Посессив-

ные и пространственные модели» предложила свое толкование отношения посессивности. Она считает, что сферу посессивности можно определить как то, что попадает в силовое поле посессора, где силовое поле, не будучи пространством, может включать объекты и пространства.

Е. В. Падучева, исследовавшая местоимение *свой*, выявила его несобственно притяжательные значения, такие как «собственный», «дистрибутивный», «особый», «надлежащий», «находящийся в родственных и прочих близких и постоянных отношениях». Местоимению *свой* был посвящен также доклад Т. М. Николаевой «*Свой*: механизм формально-смысловой эволюции», в котором рассматривалась семантика сочетаний с этим местоимением в историческом ракурсе. В докладе Е. А. Рахилиной и Г. Е. Крейдлина «Сооставительный анализ способов выражения притяжательности в русском языке» сообщалось о семантических различиях между конструкцией с дательным падежом и конструкцией с предлогом *у* и родительным падежом. Т. П. Скорикова, основываясь на данных экспериментального фонетического исследования, доложила об особенностях акцентно-просодического оформления именных сочетаний с лексемой *наш* и их семантики в устных научных текстах.

Е. И. Демина обобщила свои многолетние наблюдения над языком новоболгарских дамаскипов XVII в., избрав для конкретного рассмотрения способы передачи посессивных отношений при указании на принадлежность субъекту действия. М. И. Ермакова охарактеризовала особенности посессивной конструкции с группой слов, имеющих словообразовательные форманты *-ow (y)*, *-in (y)*, *-n (y)* в серболужицком языке. Л. М. Ковалева (Иркутск) в докладе «Категория притяжательности и возвратность» трактовала возвратность как одно из проявле-

ний категории притяжательности, понимаемой в самом широком смысле слова. Т. А. Тулина (Одесса), основываясь на материале современного русского литературного языка, обратила внимание на несобственно притяжательные значения местоимений.

Песколько выступлений было посвящено данным балтийских языков. А. Паулаускаене (Вильнюс) говорила о выражении посессивности в местоимениях литовского, латышского и прусского языков. Э. Генюшене (Вильнюс) в докладе «Категория притяжательности и транзитивные рефлексивы в литовском языке» рассмотрела переходные рефлексивные глаголы литовского языка, выражающие разного вида посессивное значение. Она указала на то, что литовские посессивные рефлексивы имеют типологические параллели во многих языках. А. Росинас (Вильнюс), поставив в своем докладе вопрос, существовали ли притяжательные местоимения в общебалтийском языке, ответил на него отрицательно.

А. В. Головачева представила результаты сопоставительного анализа чешских, польских и русских связных текстов с точки зрения соотношения категорий посессивности и определенности при детерминации объекта обладания. Об особом значении посессивности, присущем *Dativus ethicus*, и о его легкой трансформируемости в конструкцию с притяжательным местоимением в балканских языках сообщила Т. В. Цивьян. В докладе И. Б. Долининой и Л. А. Бирюлина (Ленинград) «Синтактико-деривационные особенности конструкций с посессивными актантами» рассматривалось синтаксическое поведение глагольных конструкций с актантами, выраженными посессивной группой.

В ряде докладов обсуждалась категория притяжательности в индоевропейских языках. М. А. Журицкая изложила свою точку зрения на семантический статус конструкций, выражающих неотчуждаемую принадлежность; она сочла необходимым вывести категорию неотчуждаемой принадлежности из семантической сферы посессивного отношения и обозначить ее как партитивное отношение. Большой фактический материал был удачно классифицирован Э. Г. Беккер (Томск), охарактеризовавшей репертуар лично-притяжательных суффиксов лично-притяжательного типа склонения существительных в диалектах селькупского языка. Е. А. Хелинский предложил рекон-

струкцию серий посессивных суффиксов в прасамодийском языке. М. С. Полинская произвела синтаксический анализ посессивных отношений в восточно-австронезийских языках. В докладе Ю. К. Лекомцева были описаны способы выражения посессивности в языках мунда. Н. Ф. Алиева дала характеристику посессивного строя австронезийских языков, в которых деятель по отношению к действию представляется как посессор-обладатель действия.

О некоторых особенностях использования способов выражения категории притяжательности в поэтической функции в немецком языке на примере стихотворения Поля Селана «Псалом» рассказала И. М. Лекомцева. Доклад З. М. Волоцкой и А. В. Головачевой ознакомил с одним из приемов организации текста загадки — описанием загаданного денотата в образной части загадки через его объекты обладания. С. А. Крылов, обратившись к логико-семантическому анализу посессивной конструкции, остановился на вопросе о выражении в ней противопоставления определенности — неопределенности.

К совещанию был издан сборник тезисов, в который, кроме вышеперечисленных, вошли доклады Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова, А. А. Ким, Ю. И. Левина, Т. Н. Молошной, В. Э. Орла, Т. Н. Свешниковой, Т. М. Судник, Г. А. Цыхуна, Л. С. Бакун («Категория притяжательности в славянских и балканских языках. Тезисы совещания». М., 1983, 124 с.).

Об актуальности поставленных на совещании лингвистических проблем свидетельствует большое количество выступлений в прениях. Особенно много внимания было уделено обсуждению теоретических вопросов, связанных с категорией притяжательности.

Подводя итоги совещания, член организационного комитета Т. Н. Молошная отметила, что совещание прошло на высоком профессиональном уровне, в атмосфере творческой дискуссии; оно явилось новым этапом в работе структурной типологии над темой «Категория притяжательности в славянских и балканских языках». Члены сектора надеются, что лингвисты, занимающиеся той же или смежной проблематикой, будут и в дальнейшем сотрудничать с ними, расширяя круг языков, привлекаемых для типологического сопоставления.

\* \* \*

«Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане» — этой теме была посвящена сованная сектором структурной типологии вторая балто-славянская конференция, которая проходила в Институте славяноведения и балканистики АН СССР 29 ноября — 2 декабря 1983 г. Отметим, что за пять лет, прошедшие после первой конференции (см. сб. тезисов: «Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом». М., 1978), были выполнены ее основные решения: учрежден ежегодник Института «Балто-славянские исследования» (издано три тома, четвертый том выйдет в свет в 1984 г.), организационно оформлено сотрудничество Института по данной теме с Академиями наук Польши и ГДР.

В работе конференции приняли участие представители научных учреждений и учебных заведений СССР, Польши, Болгарии и ГДР. Было прочитано и обсуждено более 30 докладов по различным вопросам балто-славянского языкознания, истории, фольклора и этнографии. Содержание и направление конференции, как отметил во вступительном слове зав. сектором структурной типологии Вяч. Вс. Иванов, продолжают уже сложившуюся традицию.

Конференция открылась серией докладов из области сравнительной грамматики и этимологии. Доклад И. Дуриданова (София) был посвящен проблеме индоевропейских гуттуральных согласных в связи с этимологией славянских и балтийских слов. Исходя из концепции В. Георгиева о делении и.-е. гуттуральных согласных на два ряда — велярный и лабиовелярный, автор предложил фонологическую интерпретацию процессов перехода и.-е. велярных в спиранты или аффрикаты и на основании анализа балтийских и славянских данных пришел к выводу об отсутствии кентумных элементов в этих языках. В докладе Вяч. Вс. Иванова «О некоторых архаизмах прусского суффиксального словообразования» был дан словообразовательно-морфологический анализ прусских слов с суффиксом имени деятеля (*quasi*-эргатива или актива) *\*-nt-* (в *smun-ent-s* 'человек' и др.) на фоне широкого круга общепольских, древнеевропейских, анатолийских и общеиндоевропейских соответствий; рассматривались также установленные автором балто-анатолийские изоглоссы: соответствие прус. суффикса отглагольных имен *\*-st-* и хет. *-ešš-ar / -eš-n-*, тождество хет. *ishi-mana* 'веревка, ремень' и прус.

*schumeno* 'Schusterdracht' (с исходным значением *-meno-* как медиопассивного причастия). В другом докладе Вяч. Вс. Иванова предметом исследования были индоевропейские названия бороды в свете предложенной автором семантической реконструкции индоевропейского сряда, при котором борода (из злаков или другого материала) как символ плодородия мужского божества представлялась к ритуально значимому лицу. Основной вывод заключается в том, что инновации *\*bhar-dhā* (заменившая общеиндоевропейское название *\*(s)mo (n)kru*), к которой восходят славянские и балтийские формы (в частности, прус. *bordus* 'борода', *Bardoayts* как эпитет бога со значением 'бородатый') характерна для той диалектной области, где было распространено именно ритуальное употребление бороды и где вне ритуала борода брили. А. Росивас (Вильнюс) представил итоги детального изучения эволюции парадигм имени и местоимения в балтийских языках. На основании данных диалектов и письменных памятников, а также с помощью типологических параллелей автору удалось установить общие закономерности модификации парадигм имени и местоимения: ведущую роль фонологических изменений конца слова и последующего действия фактора аналогии. В докладе Ж. Ж. Варбот (Москва) рассматривались случаи аномального отражения праслав. сочетаний типа *turt, turt* в славянской лексике — *turt, tyrt, tirt*, а также примеры вариативности регулярных и нерегулярных рефлексов (рус. *прикорнуть* — *прикурнуть* и т. п.). Проанализированы и уточнены источники этой фонетической аномалии: действие аналогических процессов внутри системы, заимствование из балтийских языков или развитие славянских форм под влиянием балтийских в условиях языковых контактов. В докладе И. Дулевичевой (Варшава) «Категория вокатива (из балтийско-славянских параллелей)» были сопоставлены факты славянских и литовского языков, отражающие общие словообразовательные и фонетические тенденции в оформлении категории адресата речи. Большой интерес вызвал рассказ Э. Зинквичюса (Вильнюс) о недавней находке в Брестской области — старом рукописном двуязычном словаре, снабженном заголовком «*Pogańskie gwary z Narewii*». Были представлены результаты предварительного изучения этого нового источника, содержащего более 200 слов балтийского происхождения. Одни из этих слов относят-

ся к числу общепольских, другие имеют соответствия лишь в одном или двух балтийских языках (при различиях в семантике или оформлении), третьи представляют трудности в плане выяснения их балтийских связей; фонетика преимущественно западнобалтийская. Вывод о языковой атрибуции памятника отразило название выступления: «Польско-являжский словарь?».

Теме являжов и определения следов их языка был посвящен также доклад А. П. Непокупного (Киев) «К структуре и славянским связям являжской ойконимии», в котором речь шла о нескольких являжских ойконимах из описания походов Даниила Галицкого середины 50-х годов XIII в. Тщательный анализ летописного контекста позволил докладчику уточнить детали исторической географии являжов: устойчивое ойконимическое сочетание *домъ Стекинтовъ* интерпретируется как перевод являжской композиты типа \**Stekini(a)-pils*; приведены убедительные доводы в пользу ойконимической самостоятельности формы *Правища*.

Вопрос топониматики было посвящено еще четыре доклада. Ф. Хинце (Берлин) выступил на тему «К древнепрусской топонимике Помезании». Опираясь на материалы книги Х. Гурновича «*Toponimia Powiśla Gdańskiego*», докладчик представил (по документам до 1525 г.) результаты статистических подсчетов, которые обнаружили значительность пласта древнепрусских гидронимов и топонимов на фоне древнесевероиславских и польских названий в Помезании. Доклад М. Кондратюка (Варшава) содержал анализ балтийского элемента в топонимике центрального Подляшья XV—XVII вв. Итогом исследований автора в этой области явились списки топонимов и антропонимов балтийского (главным образом литовского) происхождения. О. Буш (Рига) в докладе «К изучению куршской гидронимии в свете балто-славянских языковых отношений» остановился на некоторых дискуссионных вопросах балтийской гидронимии. По его мнению, балтийские гидронимы с *Dulg-* (среди них лтш. *Dulgis*, относящиеся к территории куршей) отражают западнобалтийско-славянскую изолексу; для куршского топонимииа *Venta* вероятностно балтийского (а не славянского) происхождения доказывається балтийским по преимуществу гидронимическим контекстом. Доклад Л. Балодэ (Рига) интересен как опыт систематического изучения лимнонимов славянского происхождения в Латвии.

Источниковедение было представлено тремя выступлениями. Два из них касались «Хроники земли Прусской» Петра из Дусбурга: В. И. Матузова (Москва) рассказала о задачах и методологии изучения культурно-исторического контекста «Хроники» в связи с подготовкой издания этого памятника в «Своде источников по истории древнейших государств на территории СССР»; публикатор литовского перевода «Хроники» Р. К. Батура (Вильнюс) изложил соображения по интерпретации и локализации ряда упомянутых в ней топонимов, затронув некоторые общие вопросы истории Литвы в освещении «Хроники». Серьезное внимание привлек доклад Е. Охмацького (Познань) о новооткрытом источнике по истории балтов — «*Descriptiones tartarum*» в составе кодекса № 347 конца XIII в., хранящегося в библиотеке Trinity College в Дублине. Доклад содержал анализ сведений о балтах (их племенном делении, обычаях, христианизации и т. д.), обоснование датировки (1255—1260) и гипотезы об авторе («*de fratribus minoribus Adolphus*», упомянутый в документе Миндовга от 1253 г.).

Серия сообщений по проблемам этногенеза и древнейших этноязыковых связей началась докладом В. В. Мартынова (Минск) «Западнобалтийский субстрат праславянского языка». Развивая идеи цикла своих предыдущих исследований, позволивших выделить в праславянской лексике первичный балтийский и вторичный италийский ингредиенты, автор обратился к анализу прусско-славянских эксклюзивных изоглоссов и пришел к выводу о западнобалтийском характере балтийского ингредиента праславянского языка. Новые наблюдения, касающиеся палеобалкано-балто-славянских лексических и семантических соответствий, были приведены В. П. Нерознаком (Москва). В. Н. Чекмонас (Вильнюс) в докладе «Балто-славянские лингвосторические контакты и формирование центральной зоны восточнославянского ареала» сосредоточил внимание на лингвогеографической структуре упомянутой зоны. По мнению автора, первоначальное распространение аканья, возникшего (после IX в.) в центре этой зоны — междуречье Верхнего Днепра и Западной Двины, где отмечено наибольшее скопление гидронимов балтийского происхождения, — было обусловлено сохранением традиционных этнокультурных и коммуникативных связей, существовавших на территории современной Белоруссии и

запада Центральной России до прихода славян. Ф. Д. Климчук (Минск) указал на те связи, которые удается проследить между основным диалектным членением белорусского языкового ареала и постепенным процессом появления на территории современной Белоруссии славянского лингвистического элемента на фоне контактов с балтийской речью.

Несколько выступлений было посвящено исследованиям интерференции в условиях балто-славянских языковых и диалектных контактов. С. Ф. Кольбушевский (Познань) в докладе, посвященном предстоящему 150-летию К. Барова, изложил результаты изучения польских лексических заимствований в латышских дайнах, уделив основное внимание словам, не вошедшим в словари Я. Эндзелина, Э. Френкеля, А. Озолса. Исследовательница русских островных говоров на территории Польши И. Грек-Пабисова (Варшава) представила обзор полонизмов и балтизмов в этих говорах с подробным разбором вопросов относительной хронологии заимствований. Коллективный доклад Ю. Ф. Мацкевич, Е. М. Романович, Е. И. Чеберук (Минск), Е. И. Гринавечене (Вильнюс), прочитанный Е. И. Чеберук, содержал итоги наблюдений над белорусско-литовскими лексическими изоглоссами по диалектным материалам Лексического атласа белорусских народных говоров, работа над которыми близится к завершению. М. Гасюк (Познань) рассмотрел славянские заимствования в литовском говоре окрестностей г. Сейны (на северо-востоке Польши), относящиеся к лексике, фонетике и синтаксису. Диахронической фонологии латгальских говоров был посвящен доклад А. Б. Брейдака (Даугавпилс), в котором намечена обобщающая схема эволюции латгальского вокализма от единой системы к пяти позднейшим типам в связи с внутренними тенденциями развития и контактами (в частности, со славянским элементом).

Теме сравнительного изучения балтийского и славянского фольклора, архаических обрядовых представлений, анализу лингвистических вопросов, связанных с семантикой надъязыковых (в частности, мифологических) систем также было уделено внимание в работе конференции. Б. П. Кербелите (Вильнюс) представила обстоятельное исследование, в котором разрабатывается еще не решенная проблема фольклористики — вопрос о выявлении заимствованных сюжетов. Впервые предложена методика, позволяющая

найти строгие критерии заимствования на основе структурного и семантического анализа текстов и генерирования закономерных версий и вариантов сюжетного типа. Возможность этой методики иллюстрировал подробный анализ литовских вариантов сказки о Покатигорошке, выявивший в них признаки сравнительно позднего заимствования (из восточнославянской традиции). Интересная попытка рассмотреть число вариантов песен как функцию времени (на примере латышских дайн о крестной матери) предпринята Б. П. Рейдзане (Рига). В докладе Н. И. Толстого (Москва) сопоставлялись три обряда: лит. *kaladė*, укр. *Колодий*, сербск. *Бадњак*; в результате обнаружены черты структурного и семантического сходства их элементов, наиболее архаичные формы и детали, важные для реконструкции прасостояния обряда. Ю. Лаучюте (Ленинград) высказала сомнения по поводу отнесения др.-рус. *Перунъ, Велесъ* — лит. *Perkūnas, vėlės* к числу балто-славянских лексических изоглосс. По ее мнению, фонетика и словообразование свидетельствуют о заимствовании из балтийских языков. А. Кубульня (Рига), М. И. Лекомцева (Москва) рассмотрели «Поэму о молоке» И. Зиедониса как пример построения мифологема в современном поэтическом тексте; мифологема *молоко* включается в семантический, словообразовательный и этимологический контекст, определяющий композиционную структуру поэмы. Л. Г. Невская (Москва) на материале фольклорных текстов проследила семантический параллелизм выражения понятия 'пестроты' в балтийских и славянских языках применительно к самым разнообразным тематическим сферам, включая мифологическую. Семасиологические параллели в балтийских и славянских названиях радуги были приведены в докладе А. Б. Страхова (Москва).

Обсуждение докладов было деловым и конкретным, чему способствовало своевременное издание сборника тезисов конференции («Балто-славянское этноязыковое взаимодействие в историческом и ареальном плане». М., 1983).

В заключение были приняты решения, касающиеся перспективного плана совместных коллективных исследований (с участием специалистов из СССР, Польши, ГДР и Болгарии) по актуальным проблемам балто-славистики.

Молошная Т. Н., Судник Т. М.



## CONTENTS

<p><i>Gibiński L. Ja.</i> The Soviet Union and the Jugoslavian liberation movement in 1941—1943. <i>Kuzmin M. N.</i> J. A. Komensky's pedagogical works in the socio-cultural context of the transition from feudalism to capitalism. <i>Dmitriev M. V.</i> Antifeudalist tendencies in the Reformation in the Rzeczpospolita (second half of the XVI century). <i>Semenova L. E.</i> The Moldavian principality and international relations in the South-Eastern Europe (second half of the XV century). <i>Petrov E. V.</i> Slavic-germanic relations in the South-Eastern Bavaria in VI—X centuries. <i>Bazilevski A. B.</i> Grottesque in the poetry of J. Tuwim and K. I. Galczyński (1920s—1930s). <i>Kolesnitskaya I. M.</i> Bulgarian and East Slavic marital songs. <i>Popova T. V.</i> On some problems of contrastive studies in Slavic morphonology. <i>Leshkova O. O.</i> On the functional and semantical category of Collectivity in Russian and Polish .</p>	3
--	---

### COMMUNICATIONS

<p><i>Budzyński R.</i> (Poland). Polish-Soviet contacts in the field of humanities (1971—1975). <i>Akinfiev A.</i> Todor Burmov — Bulgarian political writer and statesman . . . . .</p>	102
--	-----

### REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

<p><i>Leshchilovskaya I. I.</i> Внешняя политика России XIX и начала XX века. Документы Российского министерства иностранных дел. <i>Vilunov B. N.</i> Н. Н. Червенков. Политические организации болгарского национально-освободительного движения во второй половине 50-х—60-е годы XIX века. <i>Sherlatimova S.</i> A new Polish book on Czech and Slovakian literature. <i>Mokienko V. M.</i> Cermák František. Idiomatika a frazeologie češtiny. . . . .</p>	113
--	-----

### SCIENTIFIC LIFE

<p><i>Moloshnaya T. N., Sudnik T. M.</i> Two conferences in the board of structural typology.. . . .</p>	123
--	-----

Технический редактор *Е. В. Сипицына*

---

Сдано в набор 11.06.84 Подписано к печати 20.08.84 Т-13336 Формат бумаги 70×108<sup>2</sup>/<sub>16</sub>  
 Высокая печать Усл. печ. л. 11,2 Усл. кр.-отг. 13,3 тыс. Уч.-изд. л. 12,5 Бум. л. 4,0  
 Тираж 1148 экз. Зак. 252

---

Издательство «Наука», 103717, ГСП, Москва, Н-62, Подсосенский пер., 21  
 2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10

Цена 1 р. 20 к.  
Индекс 70891

№-17  
В ОДНУЮ 34/33-40  
ТОЛОМА И И  
70891